



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

6. AIRP.

Slav 4120.726

2. HQS

3. MAR

Apr. VII-558

1001

11/1x

2/2

5/16

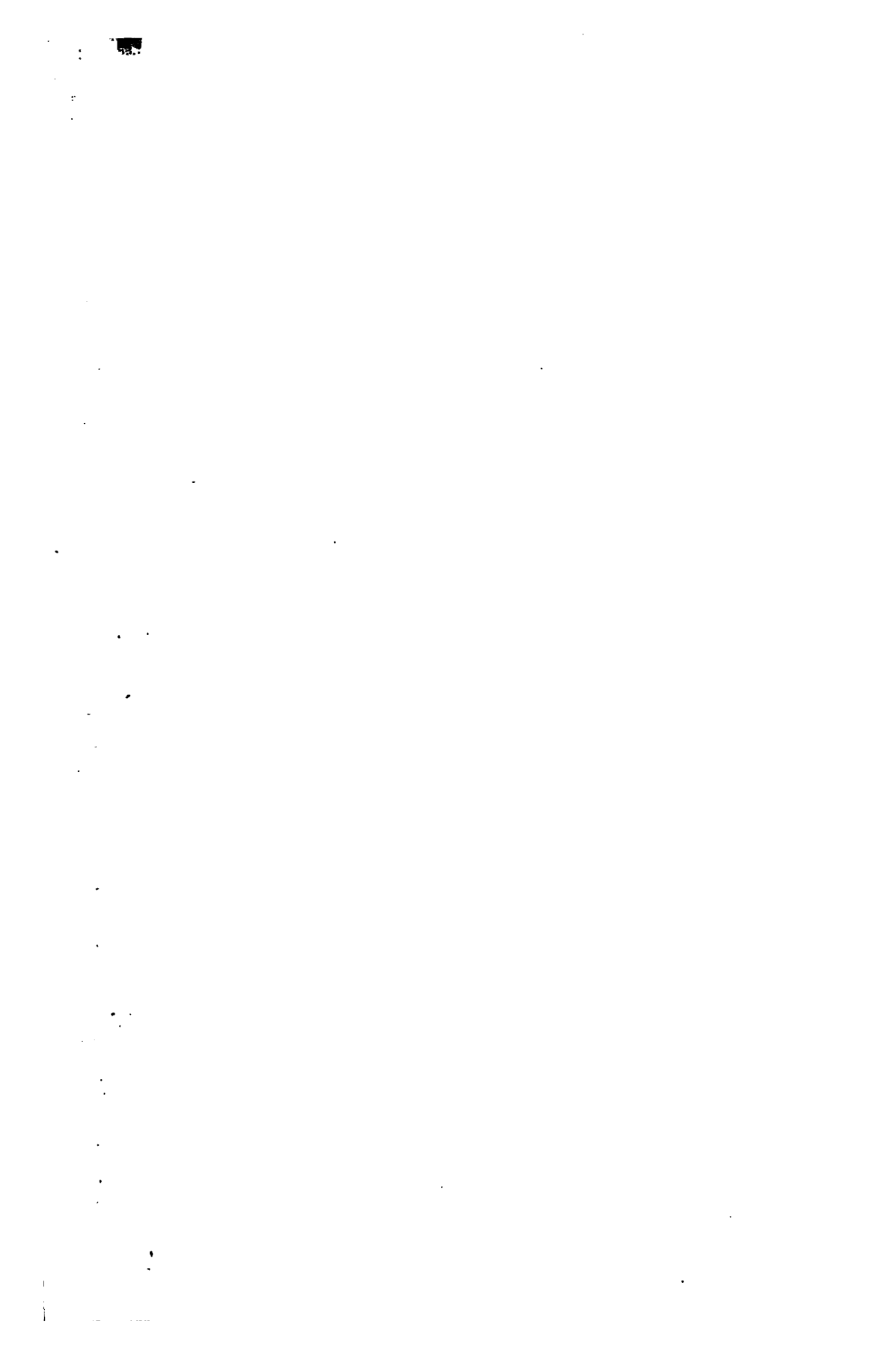
11

2/1



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY





✓
209
Н. КОРОБКА.

СЛОВООДСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА-ЧТЕНЬЯ

П. К.

ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ НАСТРОЕНІЙ.

- I. Бальмонтъ.
- II. Апухтинъ.
- III. М. Горькій.
- IV. Г. Мережковский о Достоевскомъ и Толстомъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

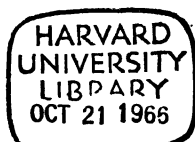
Изданіе Типо-Литографіи и Книжнаго склада А. Э. ВИНЕКА

Екатерингофскій просп., 15.

1908.

Sl. 4120.726

✓



Дозволено цензурою Спб., 30 Октября, 1902 года.

Предлагаемые вниманію читателя очерки были напечатаны въ „Русскомъ Богатствѣ“, „Русской Мысли“ и „Образованіи“ съ 1897 и 1901 г. Вполнѣ сознавая всю скромность значенія этихъ очерковъ, авторъ думаетъ все же, что вмѣстѣ они говорятъ больше, чѣмъ будучи разбросаны въ разныхъ изданіяхъ и рѣшается собрать ихъ, уступая чувству присущемъ всякому пишущему человѣку, которому слишкомъ рѣдко и слишкомъ неполно приходится высказываться.

Н. Е.

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

the

Поэма конца вѣка ¹⁾

(„Въ безбрежности“. К. Бальмонта).

Общественныя явленія, очень сильно дающія себя чувствовать за послѣднее время въ жизни, какъ Запада, такъ и Россіи и окрещиваемыя именемъ „конца вѣка“, не смотря на уже вызванную ими цѣлую литературу изслѣдованій, памфлетовъ, эпиграмъ и панегириковъ, до сихъ поръ весьма мало выяснены. Остается нераскрытой самая сущность этихъ явленій, то, что объединяетъ ихъ въ одно цѣлое, не смотря на все ихъ разнообразіе. Что такое „конецъ вѣка“ чувствуется, но не выяснена еще причина этой сѣти явленій, ни ихъ глубина, ни общественное значеніе. Между тѣмъ они представляютъ собой весьма замѣтный элементъ современной жизни и, въ качествѣ такового, заслуживаютъ самого глубокаго вниманія.

„Конецъ вѣка“ проникаетъ повсюду, въ литературу, въ политику, въ философію, въ науку, въ искусство, всюду вноситъ свою смутность мысли, отсутствіе принциповъ, эгоизмъ, доведенный до крайнихъ предѣловъ, и дрябло пессимистическое отношеніе къ жизни. Упадочникъ, въ какой бы сферѣ дѣятельности онъ ни являлся, всюду вноситъ извращеніе, разложеніе и смерть. Отъ твореній упадочниковъ вѣетъ могильнымъ холодомъ, но они иногда такъ красивы, что невольно влекутъ къ себѣ, иногда такъ талантливы, что могутъ производить сильное впечатлѣніе, даже на трезваго

¹⁾ Напечатано было въ „Русскомъ Богатствѣ“, 1897 г. № 6.

Эти стихотворенія по внѣшности не носятъ явныхъ признаковъ декадентства, декадентскими дѣлаетъ ихъ настроеніе, скрытое въ нихъ. Лучше и яснѣе всего выражаетъ безпокойное стремленіе „за предѣлы“ стихотвореніе „Вѣтеръ“ — посвященное „нѣмецкому поэту Георгу Бахману“.

Я жить не могу настоящимъ,
Я люблю безпокойные сны.
Подъ солнечнымъ блескомъ палящимъ
И подъ влажнымъ (?) мерцаньемъ луны.
Я жить не могу настоящимъ,
Я внимаю немецамъ струны,
Цвѣтамъ и деревьямъ шумящимъ,
И легендамъ приморской волны.
Желаньемъ томясь несказаннымъ,
Я въ неясномъ грядущемъ живу,
Вздыхаю въ разсвѣтъ туманномъ,
И съ вечернею тучкой плыву.
И часто въ восторгъ нежданномъ
Поцѣлуемъ тревожу листву (!).
*Я въ быствѣ живу неустаннымъ,
Въ ненасытной тревогѣ живу.*

„Неустанное бѣгство“, „нанасытная тревога“, это не стремленіе къ идеалу, не недовольство окружающимъ — такіа чувства предполагаютъ извѣстную нравственную устойчивость, ясность принциповъ, сознаніе цѣли въ жизни, жажду дѣятельности. Это и не здоровый естественный порывъ къ счастью; для нашего поэта и представляемыхъ имъ больныхъ группъ человѣчества ничего этого нѣтъ. Не говоря уже о принципахъ, идеалахъ, имъ чуждо представленіе о здоровомъ личномъ счастьи; они даже не пессимисты, они страдаютъ меланхоліей и весь міръ подернуть для нихъ темной дымкой, сквозь которую, какъ въ полумракѣ лунной ночи, всѣ явленія міра представляются имъ туманными, фантастичными, заключающими въ себѣ нѣчто таинственное, „символическое“.

Счастья нѣтъ для нашего поэта, онъ даже не пытается бороться за счастье, онъ пассивно покоряется судьбѣ, бросаясь „въ морѣ отчаянья, въ темную бездну сомнѣнья“, какъ выражается онъ въ одномъ изъ талантливейшихъ своихъ стихотвореній („Нѣтъ, не могу я заснуть и не ждать и смириться“). Въ другомъ своемъ стихотвореніи, тоже принадлежащемъ къ числу лучшихъ, поэтъ говоритъ:

Въ этой жизни смутной
Насъ повсюду ждетъ
За восторгъ минутный
Долгой скорби гнетъ.
Радость совершенства
Смѣшана съ тоской;
Есть одно блаженство:
Мертвенный покой.
Жажду наслажденья
Въ сердцахъ побѣди,
Усыпи волненья,
Ничего не жди.

Человѣкъ съ сильной натурой, придя къ такому выводу либо, примирившись съ недоступностью *личнаго* счастья, сталъ бы искать успокоенія въ борьбѣ за счастье другихъ, въ борьбѣ съ общественнымъ зломъ, постарался бы наполнить свою жизнь, отдавшись какому-нибудь дѣлу, либо наконецъ покончилъ бы съ собой. Нашъ поэтъ не принадлежитъ къ числу сильныхъ людей, какъ и всѣ представители изнервничавшагося человѣчества. Не смотря на всю свою меланхолію, онъ продолжаетъ тянуться къ счастью, какъ тянется къ свѣту поставленное въ темнотѣ растеніе. Счастье ему потому и не дается, что оно доступно только сильнымъ и крѣпкимъ, потому что оно можетъ покоиться только на твердыхъ устояхъ нравственнаго міра человѣка. И эта безсильная погоня за „уходящими тѣнями погасавшаго дня“ дѣлаетъ все чернѣе и чернѣе сгустившуюся надъ поэтомъ ночь, все причудливѣе и фантастичнѣе видѣнія этой ночи.

Душевное состояніе этого кошмара, въ которомъ живетъ изнервничавшійся упадочникъ, превосходно передается стихотвореніемъ „Подводныя растенія“.

На днѣ морскомъ подводныя растенія
Распространяютъ блѣдныя листы
И тянутся, растутъ, какъ *призрачныя*,
Въ безмолвіи угрюмой темноты.
Ихъ тяготитъ покой уединенья,
Ихъ манитъ міръ безвѣстной высоты,
Имъ хочется любви, лучей, волненья,
Имъ снятся ароматныя цвѣты.
Но нѣтъ пути въ страну борьбы и свѣта,
Молчитъ кругомъ холодная вода.

Акулы проплываютъ иногда.
Ни проблеска, ни звука, ни привѣта,
И сверху посылаетъ зыбь морей
Лишь трупы и обломки кораблей!

Пессимизмъ, какъ видимъ, полный — „нѣтъ пути въ страну борьбы и свѣта“, но примириться съ этимъ поэтъ не можетъ. Онъ говоритъ:

Нѣтъ, не могу я заснуть, и не ждать и смириться,
Въ сердцѣ волненіе растетъ и растетъ!
Можетъ ли вѣтеръ свободный кому покориться,
Можетъ ли звѣздъ не блистать хороводъ?
Нѣтъ, мнѣ не нужно покоя, не нужно забвенья.
Если же счастье намъ не дано,
Въ море отчаянья, въ темную бездну мученья
Брошусь на самое дно.

Искать спасенія отъ пессимизма въ отчаяннѣ,—это тоже, что прятаться отъ дождя въ рѣку; такое рѣшеніе показываетъ только степень пессимизма, степень душевной надломленности.

Ясно, что при такомъ душевномъ состояніи полного отчаянія, когда меланхолія дѣлаетъ для человѣка весь міръ черной ночью, невозможна никакая нравственная борьба, а слѣдовательно и борьба съ своимъ отчаяньемъ. А между тѣмъ жить въ такомъ состояніи, видя вокругъ себя лишь трупы да проплывающихъ акулъ, невысказуемо. И вотъ упадочники-меланхолики начинаютъ создавать условный міръ, въ который и уходятъ „на высоту“ отъ земли и людей. Элементы этого міра не новы; упадочники не въ состояніи создать ничего новаго; новое можетъ опираться только на дѣйствительность, развиваясь изъ наиболѣе жизненныхъ элементовъ ея; упадочники всѣхъ категорій, вслѣдствіе разныхъ причинъ, прерываютъ связь съ дѣйствительностью и людьми, замыкаясь въ культъ своей личности. Все, что не я, для нихъ безразлично. И вотъ, стремясь создать новое—они только копируютъ отжившее; ихъ оригинальный на первый взглядъ костюмъ—ни что иное, какъ цестрый плащъ Арлекина, сшитый изъ клочковъ разнаго старья. Поэты упадочники черпаютъ особенно обильно у тѣхъ прежнихъ поэтовъ, образы которыхъ наименѣе близки къ современной дѣйствительности—напр. у провансальцевъ, у романтиковъ, окра-

шивая эти образы своимъ бредовымъ настроеніемъ, которое является единственнымъ новымъ элементомъ ихъ поэзіи.

Кто это ходитъ въ ночной тишинѣ,
Кто это бродитъ при блѣдной лунѣ?
Сонныя вѣтви рукою качаетъ,
Вздохомъ протяжнымъ на вздохъ отвѣчаетъ.
Кто надъ нѣмою дремою стоитъ,
Влажнымъ дыханіемъ травы поить?
Чье это видно лучистое око—
Ближе и ближе и снова далеко?
Слышно, какъ старыя сосны шумятъ,
Слышенъ гвоздики ночной ароматъ.
Въ сонномъ болотѣ знакомыя травы
Больше не дышатъ дыханьемъ отравы.
Тише! Помедли, помедли со мной!
Кто ты—не знаю, о, призракъ ночной!
Сладко съ тобой подъ луною встрѣчаться,
Съ призракомъ—призракомъ легкимъ качаться.
Что же ты вновь убѣгаешь, скользя,—
Или намъ ближе обняться нельзя?
Или подвластны мы чарамъ запрета
Въ царствѣ холоднаго луннаго свѣта?
Кто жъ это гонится тамъ за тобой?—
Призракъ сверкаетъ блестящей стопой
Легкимъ видѣніемъ тѣнь убѣгаетъ,—
Только на небѣ зарница мелькаетъ.

Что же новаго въ этомъ произведеніи „новаго“ искусства? Образы? они какъ будто бы не обычны, но далеко не новы. Всякому они напоминаютъ что-то давно знакомое, русскому читателю скорѣе всего хрестоматію г. Галахова, по которой онъ знакомился въ дѣтскіе годы съ образчиками домашняго романтизма; тамъ достаточно тѣней, блуждающихъ при блѣдной лунѣ, видѣній и т. д. Намъ кажется не совсѣмъ невѣроятнымъ предположеніе, что именно хрестоматія Галахова и обогатила нашего поэта такими образами. Нѣчто сходное, быть можетъ, можно замѣтить и у другихъ упадочниковъ. Мы не рѣшаемся утверждать, что наше предположеніе вѣрно, но вліяніе школьных учебниковъ на творчество упадочниковъ мы считаемъ психологически вполне допустимымъ. Въ своей погонѣ за нереальнымъ, въ стремленіи отрѣшиться отъ современности, упадочникамъ столь же естественно возвращаться къ давно пройденнымъ моментамъ своего инди-

увидальнаго развитія, какъ и къ пройденнымъ ступенямъ развитія человѣчества; образомъ, запечатлѣвшимся въ умѣ художника въ дѣтствѣ, столь же естественно возникаетъ въ качествѣ чего-то новаго въ творествѣ упадочника, какъ и образомъ, созданнымъ отжившимъ искусствомъ. Но каково бы ни было происхожденіе призраковъ и видѣній въ поэзіи г. Бальмонта, они не новы. Несомнѣнно новымъ однако должны мы признать проникновеніе этихъ образовъ въ *лирическое* стихотвореніе. Эти образы для поэта-упадочника приобрѣтають гораздо большую реальность, чѣмъ для поэта романтика. Послѣдній извлекаетъ ихъ изъ-подъ спуда, прельстившись ихъ своеобразной красотой и „народностью“, первый живетъ среди нихъ. Упадочникъ такимъ образомъ возвращается къ душевному состоянію не романтика, а первобытнаго человѣка. Въ этомъ явленіи мы не можемъ не видѣть вслѣдъ за Нордау умственной деградации, хотя она, по нашему мнѣнію, происходитъ главнымъ образомъ на соціальной почвѣ, и лишь только отчасти на фізіологической.

Дѣйствительность кажется чѣмъ-то холоднымъ, пустымъ, бессмысленнымъ, даже отвратительнымъ. „Я жить не могу настоящимъ“, говоритъ г. Бальмонтъ. Въ выше цитированномъ уже стихотвореніи онъ выражаетъ свое отвращеніе къ дѣйствительности еще опредѣленнѣе:

„О нищенская жизнь, безъ бурь, безъ ощущеній!
Холодный полумракъ безъ звуковъ и огня!
Ни воплей горестныхъ, ни гордыхъ пѣснопѣній,
Ни тьмы ночей, ни свѣта дня“.

Вотъ это отвращеніе къ дѣйствительности, признаніе окружающей жизни ложью, бессмыслицей и есть, по нашему убѣжденію, сущность упадочничества: упадочникъ—человѣкъ, потерявшій подъ собой почву, въ реальности ему не на что опереться, реальность для него ненавистна и отвратительна, отсюда неестественныя построенія упадочниковъ. Если упадочникъ поэтъ, — онъ ищетъ спасенія въ мірѣ эльфовъ и грезъ, если онъ публицистъ, онъ ищетъ спасенія въ „идеальной власти“; если онъ философъ—въ „метафизическомъ чувствѣ“ и т. д. На какой почвѣ развивается эта ненависть къ дѣйствительности и современности, мы пока говорить не будемъ. Отмѣтимъ только, что особенной нена-

вистью упадочниковъ пользуются тѣ элементы современности, развитіемъ которыхъ обусловливается дальнѣйшій прогрессъ: такъ, упадочники-публицисты наиболѣе всего ненавидятъ просвѣтительныя стремленія, упадочники-философы отрываются отъ положительной мысли, у упадочниковъ-поэтовъ отсутствуетъ чувство гуманности, ими игнорируется поэзія борьбы труда и мысли. Въмѣстѣ съ тѣмъ, у большинства упадочниковъ мы видимъ еще одну очень характерную черту, остроумно подмѣченную М. Нордау, но врядъ ли основательно возведенную имъ въ степень „маніи“ — это культъ своего я, который поглощаетъ въ себѣ весь міръ. Этотъ культъ своего „я“ сказывается и у нашего поэта. Тяготясь безсодержательностью своей жизни, тяготясь до мученія, до отвращенія къ жизни, онъ не вспоминаетъ ни разу о людяхъ; мысль искать спасенія въ общеніи съ людьми не приходитъ ему даже. Онъ говоритъ о личномъ счастьи, и жалѣетъ даже, что въ жизни нѣтъ „воплей горестныхъ“.

„Воплей горестныхъ“, видите ли, въ наше время нѣтъ... Жалѣтъ о томъ, что въ жизни нѣтъ „воплей горестныхъ“, можетъ только тотъ, чье сердце абсолютно глухо ко всему, что дѣлается внѣ его, иначе пришлось бы стенать, что этихъ воплей слишкомъ, до мучительности много. Но таково уже свойство души „празднаго человѣка“ — упадочника. Онъ тянется лишь къ *своему* счастью и ищетъ его въ мірѣ эльфовъ и чаръ. Но жизнь за пренебреженіе къ себѣ мститъ все болѣе и болѣе тяжелой неудовлетворенностью и тоской, которая дѣлаетъ мало-по-малу существованіе празднаго человѣка настоящей трагедіей, тяжелой, но вмѣстѣ съ тѣмъ и отвратительной.

Уходя отъ земли въ безбрежность, нашъ поэтъ однако не отказывается отъ чисто земного чувства—любви. Вторая часть сборника-поэмы носитъ названіе „Любовь и тѣни любви“. Здѣсь нашъ поэтъ трактуетъ о своихъ, какъ у всякаго поэта, безчисленныхъ увлеченіяхъ, настоящихъ и минувшихъ, „истинныхъ и ложныхъ“, причемъ воспоминанія о прежнихъ увлеченіяхъ, по словамъ поэта, граничащія съ раскаяньемъ, называются „тѣнями любви“.

Тѣни „любвей“ нашего поэта, такъ сказать, двухъ цвѣтовъ: однѣ розовыя (такихъ меньшинство), другія — черныя. Вотъ какъ изображаетъ онъ свою „Первую любовь“:

Въ царствѣ свѣта, въ царствѣ тѣни, бурныхъ сновъ и тихой лѣни,
Въ царствѣ счастья земного и небесной красоты,
Я всѣмъ сердцемъ отдавался чарамъ тайныхъ откровеній.
Я рвался душой въ предѣлы недоступной высоты,
Для меня блистало солнце въ дни весеннихъ упоеній,
Пѣли птицы, навѣвая лучезарныя мечты,
И акации густыя и душистыя сирени
Надо мною наклоняли бѣлоснѣжныя цвѣты.
Точно сказочныя змѣи, безконечныя аллеи
Извивались и сплетались въ этой ласковой странѣ.
Эльфы свѣтлые скликались и толпой скользя феей,
И водили хороводы при сверкающей лунѣ;
И съ улыбкою богини, съ нѣжнымъ профилемъ камен
Чья-то тѣнь ко мнѣ безшумно наклонялась въ полуснѣ.
И зардѣвшіяся розы и стыдливыя лилеи
Нашу страсть благословляли въ полуночной тишинѣ.

Этому стихотворенію нельзя отказать въ граціи и талантливости, образы подобраны красивые и, если знать, что дѣло идетъ о первой любви, то, пожалуй, передающія это чувство.

Мы не можемъ не сдѣлать маленькаго отступленія, чтобы отмѣтить отличие „новаго“ символизма отъ символизма, всегда существовавшаго въ искусствѣ. Отличительная черта новаго символизма, что онъ неизбѣжно нуждается въ подписи „се левъ, а не собака“, тогда какъ старыи въ этой подписи не нуждался. Достаточно сравнить только что приведенное, несомнѣнно талантливое стихотвореніе съ такими стихами Лермонтова:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана...

Или съ стихотвореніемъ, переведеннымъ тѣмъ же поэтомъ изъ Гейне:

На сѣверѣ дальнемъ стоитъ одиноко
На голой вершинѣ сосна, и т. д.

Стихотворенія Лермонтова названы „Утесъ“ и „Сосна“, поэту ненужно было заглавіемъ дать понять читателю, что скрывается за этими простыми и грандіозными образами. Всякому ясно, что за тоской утеса по поcтѣтившей его тучкѣ, за грустной мечтой одинокой сосны, скрывается чувство одинокой, могучей и гордой души, которая тоскуетъ о пережитомъ счастьи, можетъ быть любви, или томится въ

разлукѣ съ другой, столь же могучей, гордой и одинокой душой.

Г. Бальмонтъ, несмотря на массу нагроможденныхъ имъ образовъ, не можетъ ими съ такой полнотой передать свое настроеніе, какъ дѣлаетъ это Лермонтовъ нѣсколькими штрихами. Впечатлѣніе, производимое стихотвореніемъ г. Бальмонта, остается неяснымъ, и онъ для поясненія принужденъ прибѣгать къ заглавію—пріемъ во всякомъ случаѣ прозаическій и ложный, показывающій, что художественная цѣль произведенія не достигнута.

Къ такому пріему принужденъ прибѣгать, однако, не одинъ г. Бальмонтъ, а вообще художники-упадочники, особенно живописцы. Яркихъ примѣровъ примѣненія пріема можно найти сколько угодно хотя бы въ картинахъ французскихъ художниковъ, съ которыми могла ознакомиться наша публика во время послѣдней выставки. Тутъ мы увидимъ голову блондинки съ подписью—„Солнечный блескъ“, увидимъ профиль дующей въ пространство брюнетки съ подписью „Вьюга“ и цѣлый рядъ картинъ, въ которыхъ при очень пылкомъ воображеніи можно найти иногда сходство съ тѣмъ, что хотѣлъ изобразить художникъ, но при видѣ которыхъ мысль о намѣреніяхъ художника никогда не явилась бы въ головѣ зрителя, если бы послѣдній былъ неграмотенъ или если бы подпись „се левъ, а не собака“ была сдѣлана на незнакомомъ ему языкѣ.

Стихотвореніе г. Бальмонта: „Въ царствѣ свѣта, въ царствѣ тѣни“ принадлежитъ именно къ числу произведеній, нуждающихся въ подписи „се левъ, а не собака“. Когда знаешь заглавіе этого стихотворенія, можно согласиться, что оно болѣе или менѣе передаетъ душевное состояніе *влюбленности* (именно влюбленности, а не любви), но если бы заглавія не было, то мы можемъ съ спокойной совѣстью утверждать, что никто бы не понялъ смысла этого стихотворенія, кромѣ развѣ мастеровъ отгадывать шарады. Но развѣ шарада отгадана, развѣ мы знаемъ, что долженъ выражать калейдоскопъ образовъ, нагроможденныхъ поэтомъ, мы по этой пестротѣ можемъ судить о характерѣ чувства, лежащаго въ основѣ даннаго настроенія. Упадочники — поэты и ихъ защитники видятъ въ „*смутномъ*“ чувствѣ, проникающемъ поэзію упадка, то новое, чего ищутъ упадочники.

Смутное чувство, какъ это сознають и лучшіе защитники упадочничества, не ново; это нѣчто вѣчное, такъ сказать, полутѣнь чувства. Выраженіе его можно найти и у лучшихъ поэтовъ, но прежніе поэты затрогивали смутныя чувства мимоходомъ, упадочники же явились, такъ сказать, „спеціалистами“, посвятившими свои силы „разработкѣ“ смутныхъ чувствъ. Но поэзіи выражаетъ внутренній міръ поэта, и спеціализація въ поэзіи свидѣтельствуетъ только о подобной же спеціализаціи во внутреннемъ мірѣ. Упадочникъ не потому выражаетъ въ своихъ стихахъ смутное чувство, что раньше мало его выражали и онъ рѣшилъ восполнить этотъ пробѣлъ, а потому, что смутное чувство его господствующее настроеніе и что онъ вслѣдствіе культа своего я можетъ интересоваться только *своими* ощущеніями. Отсюда вѣчное копанье въ оттѣнкахъ своихъ чувствъ и изображеніе этихъ оттѣнковъ дѣйствительно съ большей полнотой и рельефностью, чѣмъ у представителей здоровой поэзіи.

Въ разсматриваемомъ стихотвореніи г. Бальмонта, какъ и въ рядѣ другихъ, мы видимъ именно такое копанье въ своихъ чувствахъ, въ данномъ случаѣ смакованіе своей влюбленности.

Въ его жизни, какъ вообще впрочемъ въ жизни празднаго человѣка, стремящагося наполнить пустоту своей жизни наслажденіями, любовь играетъ нѣсколько иную роль, чѣмъ должна бы. Ада Негри въ одномъ изъ своихъ стихотвореній спрашиваетъ человѣка, объяснившагося ей въ любви, „работалъ ли ты?“ Эти слова здороваго человѣка менѣе всего понятны представителю празднаго челоѣчества. Онъ ищетъ въ любви только наслажденія и потому то самое чувство, которое онъ стремится сдѣлать небеснымъ, у него теряетъ свою законность, а вмѣстѣ съ тѣмъ силу и свѣжесть, становится уродливымъ, тусклымъ, а подъ часъ и низменнымъ. Прекраснымъ выраженіемъ такой дряблости чувства является у нашего поэта стихотвореніе „Оазись“.

Ты была какъ оазись въ пустынѣ,
Ты мерцала стыдливой звѣздой,
Ты луною зажглась золотой
И тебѣ, недоступной богинѣ,
Отдавалъ я мечту за мечтой.
Я рѣшился въ желаніи смѣломъ

По кремнистой дорогѣ идти
И не медлить нигдѣ на пути (?).
Ты казалась мнѣ высшимъ предѣломъ,
За который нельзя перейти.
И потомъ... О какое мученье!
Къ недоступному доступъ найденъ.
Я, какъ жалкій ребенокъ, смущенъ.
Гдѣ любовь, гдѣ восторгъ упоенья?
Все прошло, ускользнуло, какъ сонъ.
Я мечты отдавалъ не богинѣ,
Ты, какъ естъ, ты—земля на землѣ,
Я одинъ (!) въ удушающей мглѣ.
Я очнулся въ бесплодной пустынѣ.
И проснулся на жесткой скалѣ.

Къ сожалѣнію, неясность, свойственная твореніямъ упадочниковъ, не даетъ возможности отгадать, самимъ ли поэтомъ найденъ путь къ недоступному или къ мѣ другимъ, что конечно, не безразлично для пониманія и оцѣнки страданій поэта. Но это отчаяніе по такому простому и естественному поводу, что любимая поэтомъ особа не богиня, а женщина, способная любить, что она—„земля на землѣ“, и это поэтическое восклицаніе нашего неземного существа: „Я одинъ въ удушающей мглѣ!“—все это не требуетъ комментаріевъ. Впрочемъ, нашъ поэтъ не всегда остается столь небеснымъ какъ въ приведенномъ стихотвореніи. Иногда подъ вліяніемъ своего темперамента онъ тоже на время становится „землей на землѣ“. Вотъ, напримѣръ, одно его „земное“ стихотвореніе:

Тебя я хочу, мое счастье,
Моя неземная краса!
Ты—солнце во мракѣ ненастья,
Ты—жгучему (?) сердцу роса!
Любовью къ тебѣ окрыленный,
Я брошусь на битву съ судьбой.
Какъ волосъ (!), грозой опаленный,
Склонюсь я во прахъ предъ тобой.
За сладкій восторгъ упоенья
Я жизнью своей заплачу!
Хотя бы цѣной преступленья—
Тебя я хочу!

Это стихотвореніе по откровенности займетъ видное мѣсто среди „цензурныхъ“ любовныхъ стихотвореній. Черта характерная для упадочниковъ: стремясь къ небесамъ, они

оказываются ближе къ землѣ, чѣмъ другіе. Только что приведенному стихотворенію нельзя отказать въ энергіи и въ содержаніи, въ немъ вылилось сильное и не смутное чувство, хотя довольно низменнаго порядка; другіе любовныя стихотворенія при невысокомъ полетѣ чувства, лишеннаго всякаго идейнаго содержанія, лишеннаго даже стремленія къ счастью, страдаютъ дряблостью, какой то старческой болтливостью, по временамъ переходя въ дѣтское подражаніе готовымъ образцамъ. Вотъ напримѣръ стихотвореніе „Слова любви“.

Слова любви всегда безсвязны,
Они дрожатъ, они алмазны,
Какъ въ часъ предъутренній звѣзда;
Они журчатъ, какъ ключъ въ пустынь,
Съ начала міра и донынѣ,
И будутъ первыми всегда;
Всегда дробясь, повсюду цѣльны,
Какъ свѣтъ, какъ воздухъ безпредѣльны,
Легли какъ всплески въ тростникахъ,
Какъ взмахи птицы опьяненной,
Съ другою птицею сплетенной
Въ летучемъ бѣгѣ, въ облакахъ.

Какая пестрота! Какой арсеналъ образовъ, и какъ мало содержанія, какъ мало новаго... Неправда ли, это напоминаетъ нѣчто очень давно извѣстное?

Съ одной стороны:

О, ты, пространствомъ безконечный,
Живый въ движеніи вещества,
Теченьемъ времени предѣльный,
Безъ лицъ въ трехъ лицахъ Божества.
Духъ всюду сущій и единый, и т. д.

Съ другой стороны:

Кудри дѣвы-чародѣйки,
Кудри—блескъ и ароматъ,
Кудри волны, кольца, змѣйки,
Кудри шолковый каскадъ.

Къ этимъ двумъ образцамъ можно присоединить еще апухтинскія „Ночи безумныя“, и врядъ ли мы ошибемся, сказавши, что кромѣ этихъ литературныхъ источниковъ вдохновенія нашего поэта, въ данномъ случаѣ не было никакого жизненнаго источника: очень ужъ все вымучено,

фразисто и несвязно! Еще съ большей ясностью дряблѣсть чувства сказывается въ слѣдующемъ стихотвореніи.

Мы шли въ золотистомъ туманѣ
И выйти на свѣтъ не могли,
Тонули въ нѣмомъ океанѣ,
Какъ тонуть во мглѣ корабли.
Намъ снились видѣнія рая,
Чужіе лѣса и луга,
И прочь отъ родимаго края
Иные влекли берега.
Стремясь ускользающимъ взглядомъ
Къ предѣламъ безвѣстной земли,
Дышали съ тобою мы рядомъ.
Но былъ я какъ будто вдали
И лгали намъ вѣтры и тучи,
Смѣялись извивы волны,
И были такъ странно пѣвучи
Беззвучные смутные сны.
И мы безконечно тонули,
Стремясь отъ влаги къ землѣ—
И звѣзды печально шепнули,
Что мы утонули во мглѣ.

Это какой-то рядъ грёзъ, при отсутствіи даже близости между любящими, при отсутствіи признака счастья—необходимого условія настоящей любви, это продуктъ напряженія безпокойной, фантазіи, а не чувства. И въ этихъ „смутныхъ снахъ“, какъ мѣтко опредѣляетъ поэтъ свое душевное настроеніе, съ послѣдовательностью, характерной для всѣхъ вообще сновъ, мелькаютъ „лгушія тучи“, стремленіе „отъ влаги (?) къ землѣ“, тонущіе во мглѣ корабли и тому подобные образы, либо ничего общаго съ любовью неимѣющіе, либо совершенно неестественные. Да, даже любовь, съ которой упадочники такъ носятъ, у нихъ не живая сильная страсть, а „смутный сонъ“ съ болѣе или менѣе дикими видѣніями. „Жизнь проспять свою“,—это завѣтная мечта для нашего поэта; ничего больше не находитъ онъ пожелать любимой женщинѣ въ очень характерномъ стихотвореніи „Баюшки-баю“. Самая мысль—пѣть совершенно серьезно своей возлюбленной колыбельную пѣсню можетъ зародиться только въ головѣ упадочника; влюбленные много дурачатся, въ качествѣ дурачества колыбельная пѣсня возлюбленной была бы естественна,—но въ данномъ случаѣ мы имѣемъ

дѣло не съ дурачествомъ: наборъ гремучихъ словъ, общій патетическій тонъ пѣсни, все это говорить за то, что мы имѣемъ дѣло съ любопытнымъ отношеніемъ упадочника къ женщинѣ.

Женщина у упадочника—дитя, крошка, мотылекъ, жемчужина, все что хотите, но не человѣкъ. Въ этомъ, конечно, нѣтъ ничего новаго, все это старо, какъ міръ или по крайней мѣрѣ какъ терема и гаремы, но любопытно возведеніе въ принципъ этого смакованія женщины, устраненіе изъ отношеній между женщиной и мужчиной всякихъ другихъ элементовъ. Въ своей враждѣ ко всему, что дѣлаетъ женщину человѣкомъ, упадочникъ совершенно искрененъ, ему нѣтъ дѣла до человѣка, какъ нѣтъ дѣла до жизни, и чѣмъ безцвѣтнѣе будетъ женщина, тѣмъ легче ему дѣлать съ ней все что ему угодно „въ волшебныхъ грезахъ смутныхъ сновъ“. Философія жизни—сна съ женщиной—птичкой—сжато и не безъ граціи выражена въ названномъ уже стихотвореніи—„Баюшки-баю“:

Спи, ¹моя печальная,
Спи, многострадальная,
Грустная, стыдливая,
Вѣчно молчаливая.

Я тебѣ спою
Баюшки-баю.

Съ радостью свиданія
Къ намъ идутъ страданія;
Лучше—отреченіе,
Скорбь—самозабвеніе.

Счастія не жди,
Въ сердце не гляди.

Въ жизни кто оглянется,
Тотъ во всемъ обманется;
Лучше безразсудными
Жить мечтами чудными.

Жизнь проспай свою (!).
Баюшки баю.

Гдѣ-то море пѣнится,—
И оно измѣнится,
Утомится шумное,
Шумное, безумное,

Будетъ подъ луной
Чуть дышать волной.

Спи-же, спи, печальная,
Спи, многострадальная,
Грустная, стыдливая,
Птичка боязливая.

Я тебѣ пою
Баюшки-баю.

Это колыбельная пѣсня не только возлюбленной поэта, но и разуму, дѣятельности, общественной жизни.

„Любви“ г. Бальмонта, повидимому, были безчисленны и именно имъ, можно думать, обязанъ онъ „ночью“, охватившей для него землю. Для „празднаго человѣка“ неудачи въ любви становятся трагедію, портящую всю жизнь; ему не на что опереться, потерявши надежду на наслажденіе — такъ какъ въ наслажденіи единственный смыслъ его жизни; естественно поэтому, что неудачи въ любви приводятъ его къ отчаянію, а если его нервная система представляетъ достаточно подготовленную почву, то и къ сумашествію или самоубійству.

Намеки на любовную трагедію празднаго человѣка находимъ въ двухъ сонетахъ г. Бальмонта, озаглавленных „Поздно“. Изъ нихъ видно, что, когда поэтъ „полонъ былъ дыханья красоты“, „призракъ женщины“ все измѣнялъ ему. Ничего, кромѣ этой горести, повидимому, съ поэтомъ не приключилось, а между тѣмъ онъ дошелъ до психопатологическаго состоянія. Любовныя неудачи оказываются если не единственнымъ вообще, то единственнымъ отразившимся въ поэзіи г. Бальмонта поводомъ его меланхоліи.

Воспоминаніе о моогочисленныхъ своихъ „любяхъ“ г. Бальмонтъ, какъ мы уже говорили, называетъ „тѣнями любви“. „Воспоминаніе граничитъ съ раскаяньемъ“, гласитъ эпиграфъ, избранный поэтомъ для второй части его книги. И дѣйствительно, нѣкоторыя стихотворенія, посвященные „тѣнями любви“, носятъ характеръ покаянный. Въ полупрозаическомъ, полустихотворномъ отрывкѣ „Прощальный взглядъ“, повидимому долженствующемъ, по мысли автора, быть стихотвореніемъ въ прозѣ, поэтъ говоритъ:

„И ее вспоминаю я, подругу моихъ майскихъ дней. Темныя брови, темные глаза, пышные свѣтлые волосы, стройный дѣвическій станъ. Самъ погасилъ я прекрасный свѣтъ — нѣтъ, самъ разрушилъ свои волшебные замки. И неужели все?

Все. Какъ плоско, мелко! *Такъ же, какъ у всѣхъ* (!). Моя участь и участь другихъ—стертыя монеты; не отличишь одну отъ другой. Хотя бы что нибудь страшное было, что нибудь, передъ чѣмъ содрогнулся бы съ ужасомъ. Ничего. Вѣчные сѣрые будни“.

И такъ поэтъ, оказывается, самъ виноватъ въ своихъ несчастяхъ, да и несчастья-то его совсѣмъ „особаго рода“. Его несчастье въ томъ, что его жизнь похожа на жизнь другихъ и что съ нимъ ничего не случилось страшнаго! Какъ это напоминаетъ институтокъ, мечтающихъ въ темной комнатѣ о „страхахъ“, да и не мудро, что напоминаетъ: причины „страховъ“ г. Бальмонта и институтокъ однѣ—мысль не занята, жизнь съ ея дѣйствительными ужасами, горемъ, борьбою течетъ гдѣ-то далеко; какъ-же тепличному поэту, подобно тепличной барышнѣ, не выдумывать себѣ страстей, страховъ и страданій. Институтская поэзія г. Бальмонта даже своими причудами напоминаетъ вкусы барышень, кушающихъ грифель и жженую бумагу.

Да, жестоко мститъ жизнь „праздному человѣку“ за его праздность, и вопросъ Ады Негри: *работалъ ли ты?* является пробнымъ камнемъ для испытанія здоровья современнаго человѣка. Мы не будемъ останавливаться на покаяніи г. Бальмонта. Онъ кается не въ своей душевной пустотѣ. Онъ кается передъ своими возлюбленными, перемѣшивая свои покаянія жалобами на свою судьбу, упреками тѣхъ же возлюбленныхъ,—до всего этого намъ мало дѣла. Быть можетъ нашъ поэтъ страдаетъ истинно и глубоко, но кто же его принуждаетъ гоняться за наслажденіями, закрывъ глаза на жизнь, на страшную трагедію человѣчества. Если такая погоня привела къ разочарованію, то въ этомъ можно видѣть справедливое возмездіе судьбы.

Послѣдняя—третья часть сборника г. Бальмонта озаглавлена „Между ночью и днемъ“. Что такое „ночь“ у г. Бальмонта — мы уже говорили. Подъ вліяніемъ меланхоліи г. Бальмонтъ думаетъ, что все земное окутала „ночь“. „Ночь“ г. Бальмонта это его настроеніе, благодаря которому онъ стремится отрѣшиться отъ всего земнаго и уйти „на высоту, ловить уходящія тѣни погасавшаго дня“; день же—это „неизвѣстная красота“, неясная, неопредѣленная мечта, къ которой стремится поэтъ и ради которой создаетъ міръ

сновь. Эпиграфомъ къ „Между ночью и днемъ“ г. Бальмонтъ избираетъ слова Гете „Immer weiter“: „день“ имъ еще не достигнутъ, онъ „между ночью и днемъ“, но уже не на землѣ, а „за предѣлами“. Въ стихотвореніи въ прозѣ, озаглавленномъ „На высотѣ“, г. Бальмонтъ говоритъ: „Нѣтъ, не хочу я вѣчно плакать. Нѣтъ, я хочу быть свободнымъ. Свободнымъ отъ слабостей долженъ быть тотъ, кто хочетъ стоять на высотѣ“.

Такое признаніе своего собственного величія свойственно великимъ людямъ. Гораций и Пушкинъ оставили намъ по одѣ „Памятникъ“, отчего же г. Бальмонту не пойти дальше и не признать себя „свободнымъ отъ слабостей“, отъ которыхъ до сихъ поръ не былъ свободенъ, какъ извѣстно, ни одинъ смертный. Но въ чемъ же свобода нашего поэта?

„Какъ будешь стоять надъ пропастью, говоритъ онъ, когда голова кружится? Какъ войдешь на вершину горы, когда жаль разстаться съ сельскимъ домикомъ? Ничего не возьму я съ собой, ни о комъ я не буду жалѣть. Я долженъ стремиться все выше и выше, туда, гдѣ лазурь не запятнана, гдѣ вѣтеръ свободенъ. Такъ высоко хочу я войти, чтобы даже тучи небесныя были подо мной“.

Признаемся, этотъ отрывокъ, непосредственно слѣдующій за ранѣ приведеннымъ, производитъ впечатлѣніе полного вздора. Съ легкой или, вѣрнѣе, съ тяжелой руки Тургенева у насъ многіе повадились писать стихотворенія въ прозѣ, забывая, что для этого надо быть Тургеневымъ. Трудно найти другого писателя, у котораго мысль, ясная и глубокая, граціозные, красивые образы и изящный, колоритный языкъ такъ взаимно гармонировали бы, какъ у Тургенева. Въ стихотвореніяхъ въ прозѣ Тургеневъ равно художникъ и мыслитель, каждый изъ его поэтическихъ афоризмовъ заключаетъ въ себѣ глубокую, ясную мысль. У г. Бальмонта въ большинствѣ произведеній нѣтъ не только мысли, но и смысла, его сила въ красотѣ стиха, въ богатствѣ образовъ, хотя подъ часъ излишніе нагроможденныхъ. Въ стихотвореніяхъ г. Бальмонта скудость содержанія, а подчасъ прямая бессмыслица, маскируется красивой формой, съ стихотвореніяхъ же въ прозѣ она выступаетъ во всей своей безобразной наготѣ. Высота, на которую подымается нашъ поэтъ — манія величія, свобода отъ слабостей—культъ своего я. Ка-

ковъ же будетъ день, если уже между ночью и днемъ нашъ поэтъ попалъ въ такіе дебри?

Но, „Immer weiter“... Въ какомъ кругѣ идей вращается нашъ поэтъ „на высотѣ“, „между ночью и днемъ“? Въ послѣдней части сборника-поэмы г. Бальмонта элементъ мысли, если хотите, своеобразная идейность выражается довольно рельефно; это во всякомъ случаѣ не юношеская поэзія искусства для искусства, какъ ее понимали наши ранніе поэты. Тутъ есть попытка внести въ поэзію философское содержание, но какъ чувство упадочника-поэта—смутное чувство, скорѣй ощущеніе, чѣмъ чувство, такъ и мысль его есть отголосокъ чужой мысли, превратившійся въ ощущеніе. Передъ нами три отрывка изъ поэмы „Погибшій“. Нельзя не пожалѣть, что эта поэма не появилась цѣликомъ—она дала бы массу цѣннаго для характеристики міросозерцанія одного изъ представителей упадка и, слѣдовательно, для пониманія самого явленія упадка.

Во второмъ изъ этихъ отрывковъ мы получаемъ настоящий вопль:

Помогите! помогите! Я одинъ въ ночной тиши.
Цѣлый міръ ношу я въ сердце, но со мною на души.
Для чего кровавымъ потомъ обагрется чело?
Какъ мнѣ тяжело! Какъ мнѣ душно! Вѣковое давить зло!

Помогите! Помогите! Но никто не внемлетъ мнѣ.
Только звѣзды, улыбаясь, чуть трепещутъ въ тишинѣ.
Только ликъ луны мерцаетъ, да въ саду, среди вершинъ
Шепчетъ вѣтеръ перелѣтный: ты одинъ,—одинъ,—одинъ.

Очевидно, одиночество, отрѣшеніе отъ міра и людей, давить и гнететъ нашего поэта. Это обстоятельство показываетъ, что разрывъ между индивидуумомъ и обществомъ, заключеніе индивидуума въ культъ своего „я“, явленіе столь характерное для упадочничества,—развивается на общественной, а не на физиологической почвѣ, какъ думаетъ Нордау. Если бы упадочники всегда были самообожателями по своей натурѣ, они не страдали бы отъ своего разобщенія съ міромъ. Настоящему эгоисту міръ не нуженъ, что мы видимъ и у нѣкоторыхъ упадочниковъ, но иногда упадочникъ глубоко страдаетъ отъ своей разобщенности съ міромъ. На этой почвѣ внутреннихъ противорѣчій быть можетъ развивается значительная доля психозовъ, столь частыхъ среди

упадочниковъ, что Максъ Нордау принялъ упадочничество въ цѣломъ за сплошной психозъ.

У г. Бальмонта есть любопытное стихотвореніе „Воскресшій“. Поэтъ рассказываетъ, что онъ, въ порывѣ отчаянія, выбросился изъ окна. Онъ „цѣною страшнаго паденья хотѣлъ купить освобожденіе отъ узъ, наскучившихъ давно; хотѣлъ убить змѣю печали, забыть позоръ погибшихъ дней“. И вотъ, лежа „полурастоптаннымъ калѣкой“ на мостовой, онъ слышитъ чей то таинственный шопотъ:

Ты не исполнилъ свой предѣлъ,
Ты захотѣлъ успокоенья,
Но нужно заслужить забвеніе
Самозабвеніемъ чистыхъ дѣлъ.
Умри, когда отдашь ты жизни
Все то, что жизнь тебѣ дала,
Иди сквозь мракъ земного зла,
Къ небесной радостной отчизнѣ.
Ты обманулся самъ въ себѣ
И въ той, что льетъ теперь рыданья,—
Но это мелкія страданья.
Забудь. Служи иной судьбѣ.
Душой отжившею страдая,
Страдай за міръ, живи съ людьми
И послѣ—мой вѣнецъ прими...

То былъ голосъ смерти, которая впрочемъ, давъ поэту „жизни откровеніе“, „прочъ—до времени—ушла“. „И прикоснувшійся къ землѣ, я всталъ съ могуществомъ Антея“, рассказываетъ поэтъ.

Нѣтъ основаній придавать этому стихотворенію автобиографическое значеніе, но едвали можно сомнѣваться въ его субъективности. Дѣло однако въ томъ, что призракъ смерти, проговоривъ свои укоризненные слова, исчезъ, и воскресшій остается въ прежнемъ мірѣ сновъ, къ которому быть можетъ прибавляется нѣсколько новыхъ видѣній, напр. представленіе о страданьи „за міръ“, представленіе о скорби человечества, которое мелькаетъ въ двухъ трехъ стихотвореніяхъ нашего поэта, но именно мелькаетъ, какъ мимолетный смутный образъ, тотчасъ же уступая мѣсто „мелкимъ страданьямъ“, эльфамъ и т. д. Не смотря на слова, которыми заканчивается нашъ поэтъ стихотвореніе: „Я всталъ съ могуществомъ Антея“,—именно могущества то мы такъ и не находимъ въ поэзіи г. Бальмонта. Въ его лирикѣ не отрази-

лось ни одно сильное чувство. Его отчаяніе переходитъ въ состояніе душевной разслабленности. Его любовь трудно даже признать любовью, это какое то копанье въ эротическихъ мечтахъ; только въ одномъ стихотвореніи мы встрѣтились съ сильнымъ чувствомъ любви, но скорѣй физиологической, которая не должна бы имѣть мѣста въ лирикѣ. Какъ большинство упадочниковъ, нашъ поэтъ стремится быть религіознымъ, но религіозность у него тоже переходитъ въ область ощущеній. Вотъ, напримѣръ, характерное для декадентской религіозности стихотвореніе:

Ахъ, только бы знать, что могу я молиться,
Что можно молиться, кому я молюсь!
Ахъ, только бы въ мысляхъ, въ желаніяхъ слиться
Съ тѣмъ чистымъ, къ чему я такъ жадно стремлюсь!
И что мнѣ лишенья, и что мнѣ страданья,
Пусть буду я ждать и томиться года,
Безумствовать, падать во тѣмъ испытанья,—
Но только бы вѣрить всегда,
Но только бы видѣть изъ бездны преступной,
Что тамъ надо мной, въ высотѣ недоступной
Горить—и не меркнетъ звѣзда!

Вѣрить—для того, чтобы безумствовать и падать, это странная вѣра, которая можетъ придать только извѣстную „пикантность“ паденію; это что-то вродѣ переходовъ Верлена отъ ультра-эротическихъ стихотвореній къ культу Св. Дѣвы, это даже не вѣра, а мечта о вѣрѣ, мечта, доставляющая поэту своеобразныя ощущенія.

Дѣтскимъ лепетомъ заканчиваетъ свою поэму нашъ талантливый поэтъ, лепетомъ, производящимъ необычайно тяжелое впечатлѣніе:

За предѣлы предѣльнаго,
Къ безднамъ свѣтлой безбрежности
Въ ненасытной мятежности,
Въ жадѣ счастья цѣльнаго,
Мы воздушные летимъ,
И помедлить не хотимъ,
И едва качаемъ крыльями.
Все захватимъ, все возьмемъ
Жаднымъ чувствомъ обоймемъ!
Дерзкими усиліями
Устремляясь къ высотѣ,
Дальше прочь отъ грани тѣсной,
Мы домчимся въ міръ чудесный
Къ не извѣстной
Красотѣ!

Мы закончили обзоръ сборника поэмы г. Бальмонта, по нашему мнѣнію одного изъ характернѣйшихъ проявленій, „конца вѣка“ на русской почвѣ. Что же характернаго въ этомъ частномъ явленіи, представляющемъ собой одинъ изъ моментовъ въ общественномъ теченіи, которое далеко нельзя назвать выясненнымъ?

Въ творествѣ нашего поэта новаго немного, образы знакомы, формы тоже, ново настроеніе (именно *настроеніе*, не мысль, не идея, такъ какъ ихъ нѣтъ). Въ настроеніи же прежде всего бросается въ глаза самозамкнутость личности, ея одиночество. Это не одиночество сильной личности, которая не находитъ среди людей отклика на свои идеи, на свою любовь къ человѣчеству; не одиночество высоко развитой личности, которая не находитъ себѣ равныхъ, и тоскуетъ о мелочности окружающихъ. Это—одиночество слабой личности, которая одинока потому, что не знаетъ, не понимаетъ людей, потому что привыкла жить для себя. Личность черствая, сухая, эгоистичная могла бы блаженствовать въ этомъ культѣ своего я, ненавидя все то, что этого культа не раздѣляетъ. За такими примѣрами ходить не далеко. Но личность нашего поэта иного порядка, она жаждетъ не только своего счастья, но и высшаго начала, котораго не можетъ сознать; она томится и переживаетъ глубокую трагедію.

Передъ нами одинъ изъ наиболѣе симпатичныхъ представителей „конца вѣка“ и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ несомнѣнно талантливый. Но на этомъ талантливомъ, поэтъ особенно ясно выступаетъ мрачный колоритъ того теченія, которымъ онъ увлеченъ и которое его погубило.

Каковы причины этого общественного теченія, мы теперь говорить не можемъ, это было бы возможно только при изученіи условий его подготовлявшихъ.

II.

На порогъ упадка¹⁾.

(А. Н. Апухтинъ).

У всякаго историческаго и литературнаго явленія, какъ и у всякаго дѣятеля, всегда бываетъ свои предтеча, эти предтечи далеко не всегда „недостойны развязать ремень у ногъ“ того, кому предшествуютъ. Общественныя явленія не всегда прогрессируютъ, и въ случаѣ регресса, дегенераціи, „предтечи“ естественно оказываются выше тѣхъ, кому предшествуютъ; но въ такихъ случаяхъ изученіе „предтечъ“ еще болѣе необходимо, даетъ еще болѣе для пониманія „послѣ грядущихъ“, чѣмъ при прогрессѣ. Болѣзнь въ такихъ случаяхъ уже вполне развитая у „послѣ грядущаго“, находится въ зачаткѣ у предтечи, источникъ болѣзни яснѣе у „предтечи“, а, слѣдовательно, легче, тверже можно поставить діагнозъ болѣзни и бороться съ ней. Недавно намъ пришлось заняться „упадочничествомъ“, свившемъ себѣ гнѣздо въ русской литературѣ. Въ нашей небольшой работѣ объ одномъ изъ талантливыхъ представителей этого литературнаго теченія, г. Бальмонтѣ, мы дѣлали попытку выяснить характерныя черты самаго теченія и опредѣлить его источники; тогда же намъ поневолѣ пришлось заинтересоваться и „предтечами“ этого теченія. Наиболѣе характернымъ и наиболѣе талантливымъ изъ „предтечъ“ того общественно-литературнаго теченія, которое называется „упадочниче-

¹⁾ Было напечатано въ „Русской Мысли“, 1898 г. кн. VI.

ствомъ“, сущность котораго заключается, повидимому, въ разложеніи идейнаго содержанія жизни и литературы, въ культѣ своего „я“ и причудахъ вызванныхъ этимъ культомъ, является А. Н. Апухтинъ.

Апухтинъ—типичный поэтъ „празднаго человѣчества“; въ одномъ изъ лучшихъ стихотвореній „Изъ бумагъ прокурора“, герой его говорить:

„Я жилъ, какъ многіе, какъ всѣ почти живутъ
Изъ круга нашего, я жилъ для наслажденья;
Работника здоровый, бодрый трудъ,
Мнѣ незнакомъ былъ съ самаго рожденья“.

Это Обломовъ, но Обломовъ конца XIX вѣка. У прежняго Обломова были порывы къ дѣятельности; лежа на своей постели въ покойномъ халатѣ, Обломовъ мечталъ о подвигахъ, что-то писалъ, что-то переводилъ; но это возможно было въ сороковыхъ годахъ; жизнь тогдашней Россіи вполне гармонировала съ „Обломовщиной“, она шла исподволь, не торопясь, безъ толчковъ, безъ лихорадочной поспѣшности, безъ особаго напряженія, но и безъ той легкости, которая порождаетъ быстроту; такъ тянулся въ покойномъ рыдванѣ, на холеныхъ, сытенькихъ „своихъ“ лошадакахъ, по песчаной дорожкѣ, „въ губернію“ или „изъ губерніи“ въ доброе старое время помѣщикъ средней руки, сытый, довольный, беззаботный хлѣбосолъ, не знавшій ни „кризисовъ“, ни „вопросовъ“, ничего такого, что портило бы его сонъ и аппетитъ. Новый Обломовъ воспитался при условіяхъ, аналогичныхъ съ прежними, но жить ему пришлось при условіяхъ совершенно иныхъ. За послѣднія тридцать-сорокъ лѣтъ общественный бытъ Россіи измѣнился сильнѣе, чѣмъ за предыдущія полтора столѣтія. Обломовы были совершенно выбиты изъ колеи; новая жизнь была непонятна и антипатична, но благодаря своей „обломовщинѣ“ они не вступили сначала даже въ борьбу съ ней, они пассивно отдались волнѣ событій, старались даже, можетъ быть, по временамъ казаться адептами новыхъ вѣяній, быть можетъ, иногда даже, безсознательно конечно, служили имъ, но новыя условія жизни, новыя взгляды, идеи не могли не удручать ихъ. Какъ бы безсознательно ни относились Обломовы къ общественной жизни, ни не могли не *чувствовать*, что начи-

наютъ господствовать начала имъ враждебныя, ихъ упраздняющія. Обломы чувствовали, что волна новыхъ теченій грозитъ унести ихъ, смыть съ лица земли то, что они привыкли боготворить. Могли ли при такихъ условіяхъ Обломы предаваться мечтамъ? Они должны были понять, что ихъ пѣсня спѣта! При такихъ условіяхъ становится понятнымъ, что Обломы, добрейшіе Обломы, прямые потомки милаго Ильи Ильича составили ядро реакціи, что въ ихъ средѣ возникли тѣ тлетворныя вѣянія, которыя грозятъ разложеніемъ идейнаго содержанія жизни нашего общества. Обломы старые были мечтатели, не умѣвшіе взяться за дѣло, найти его; Обломы новые — брюзги, ненавидящіе всякое живое дѣло, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, новые Обломы гораздо несчастнѣе старыхъ, ихъ жизнь еще безсодержательнѣе, еще пустѣе; вотъ на этой-то почвѣ и возникаетъ то настроеніе, отъ котораго одинъ шагъ до упадочнической „ночи“.

Такое настроеніе находимъ мы у Апухтина: баловень судьбы, одаренный всѣмъ, чтобы не прожить незамѣтнымъ, чтобы работать на пользу человѣчества, чтобы быть счастливымъ, онъ проводитъ свою жизнь дилетантомъ, клянетъ эту безцѣльную жизнь, мучится, терзается ея пустотой и сходитъ въ могилу неудовлетвореннымъ, несчастнымъ; онъ не могъ сказать вмѣстѣ съ Пушкинымъ:

„Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный“.

Еще менѣе онъ могъ бы сказать съ Добролюбовымъ:

„Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою,
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею“.

Недовольство жизнью, сознаніе своей бесполезности, пустота окружающаго общества—вотъ основные мотивы и лирики, и прозаическихъ произведеній Апухтина:

„Пусть мой послѣдній стихъ, какъ я бывалъ ненужный,
Останется безъ рифмы...“

Такъ заканчиваетъ Апухтинъ одно изъ лучшихъ своихъ произведеній, и въ этихъ словахъ нельзя не видѣть стона души самого поэта.

Апухтинъ, какъ всѣ „обломовцы“, происходилъ изъ помѣщичьей среды; онъ родился и выросъ при крѣпостномъ

правѣ. Какъ родовитый баринъ, онъ былъ въ училищѣ правовѣдѣнія, гдѣ и окончилъ курсъ. Очень богато одаренный отъ природы, онъ рано началъ писать. По словамъ біографа Апухтина, г. М. Чайковского, „поступленію его въ VII (низшій) классъ училища правовѣдѣнія уже предшествовала слава будущаго Пушкина“¹⁾. Первое изъ его стихотвореній, появившееся въ печати, относится къ 1854 г., когда Апухтину было 14 лѣтъ: это—патріотическая ода „Эпаминондъ“, написанная на смерть Корнилова. Ода „Эпаминондъ“ обнаруживаетъ въ молодомъ поэтѣ только способность версифицировать; художественное ея значеніе равно нулю. Гораздо выше въ художественномъ отношеніи и интереснѣе для пониманія эволюціи поэтического творчества и міросозерцанія нашего поэта написанное въ 1853 г. стихотвореніе „Жизнь“.

Добролюбовъ говорилъ объ Обломовѣ, что его главная бѣда въ неумѣннн осмыслить жизнь; въ томъ, что жизнь, по понятіямъ обломовцевъ, „идеаль покоя и бездѣйствія, нарушаемаго по временамъ разными неприятными случайностями, какъ-то: болѣзнями, убытками, ссорами и, между прочимъ, трудомъ“. Молодой Апухтинъ въ своемъ стихотвореніи обнаруживаетъ взглядъ на жизнь очень близкій къ обломовскому. Вотъ это стихотвореніе:

„О жизнь! ты мигъ, но мигъ прекрасный,
Мнѣ невозвратный, дорогой;
Равно счастливый и несчастный
Разстаться не хотятъ съ тобой.
Ты мигъ, но данный намъ отъ Бога
Не для того, чтобы роптать
На свой удѣлъ, свою дорогу
И даръ безцѣнный проклинать.
*Но чтобы жизнь наслаждаться,
Но чтобы ея дорожить,
Передъ судьбой не преклоняться
Молиться, вѣровать, любить“.*

Итакъ, цѣль жизни: наслаждаться ею, молиться, вѣровать, любить (какъ понимать слова „Передъ судьбой не преклоняться“, мы не беремся рѣшить: эти слова слишкомъ общи, и едва ли не вызваны потребностью стиха еще неопытнаго поэта). Цѣль жизни—наслажденіе ею,—вотъ исходная точка

¹⁾ Собраніе соч. Апухтина, 2 е изд., стр. 111.

поэзіи Апухтина, и отъ нея поэтъ неизбежно долженъ былъ
прійти къ сознанію:

„Я жилъ, какъ многіе, какъ всѣ почти живутъ
Изъ круга нашего, я жилъ для наслажденья;
Работника здоровый, бодрый трудъ
Мнѣ незнакомъ былъ съ самаго рожденья“.

Жизнь для наслажденья, незнакомство съ трудомъ, не-
привычка къ нему, характерныя черты „обломовцевъ“ — ха-
рактерны и для Апухтина, точно такъ же, какъ и всегдаш-
ній спутникъ жизни для наслажденья—преувеличенное зна-
ченіе любви. Любовью удобнѣе всего заполнять пустую
жизнь празднаго человѣка, и обломовцы всегда очень заняты
любовью. Апухтинъ не ушелъ отъ общей участи, любовь
рано стала играть доминирующую роль въ его жизни и
играла чуть ли не до конца его дней. Среди стихотвореній,
написанныхъ Апухтинымъ въ училищѣ (съ мая 1859 г.)
большая и безусловно лучшая часть посвящена любви. Въ
17 лѣтъ поэтъ достигаетъ уже до сознанія безусловно ху-
дожественныхъ вещей въ этомъ родѣ. Вотъ, напримѣръ,
стихотвореніе, озаглавленное „Серенада Шуберта“.

„Ночь уносить голосъ страстный,
Близокъ день труда...
О, немедли, другъ прекрасный,
О, приди сюда!
Здѣсь свѣжо росы дыханье,
Звученъ плескъ ручья.
Здѣсь такъ полны обаянья
Пѣсни соловья!
И такъ вняты въ этомъ пѣньи,
Въ этотъ часъ любви,
Всѣ рыданья, всѣ мученья
Всѣ мольбы мои“.

Любовь рѣдко бываетъ розой безъ шиповъ, особенно же
слишкомъ ранняя и потому обыкновенно неудачная. Много
преждевременныхъ мукъ переживаютъ люди изъ-за слишкомъ
ранней любви, много силъ уноситъ она, много юныхъ жиз-
ней лишаетъ свѣжести; Апухтину пришлось испытать на
себѣ неудобство ранней любви, въ 17 лѣтъ онъ зналъ уже
ея муки.

„Я зналъ его, любви тяжелый бредъ,
Съ неясными порывами страданья,
Со всей горячностью незрѣлыхъ лѣтъ,
Со всей борьбой ревниваго терзанья

Я изнывалъ. Томителенъ и жгучъ
Онъ съ тьмою росъ и нестерпимо длился...
Но день пришелъ и первый солнца лучъ
Разсѣялъ мракъ и призракъ ночи скрылся“.

Такъ писалъ въ 1857 г. 17-лѣтній Апухтинъ.

Изъ другихъ юношескихъ стихотвореній видно, что въ 17—19 лѣтъ ему пришлось пережить и тоску разлуки, и горечь разочарованія. Любовь, разлука, разочарованіе, перспектива славы! Кажется, жизнь юноши поэта должна быть слишкомъ непосильно полна, а между тѣмъ она была пуста, томительна, до страданія пуста!

Не осуждай меня холодною душой,
Не говори, что только тотъ страдалъ,
Кто въ нищетѣ влачитъ свой вѣкъ угрюмый,
Кто жизни ядъ до капли выпивалъ.
А тотъ, кого, едва не съ колыбели,
Тяжелое сомнѣніе гнететъ,
Кто предъ собой не видитъ ясной цѣли
И день за днемъ безрадостно живетъ.
Кто на всегда утратилъ вѣру въ счастье,
Томясь, молилъ отрады у людей,
И не нашелъ желаннаго участя,
И потерялъ измѣнчивыхъ друзей.
Чей скорбный стонъ, стѣсненный горькій шепотъ
Въ тиши ночей мучительно звучалъ...
Ужели въ томъ таиться долженъ ропотъ?
Ужели тотъ, о, Боже, не страдалъ!“

Чего же не было въ этой жизни? Чего недоставало ей, что могло бы ее наполнить?

У Апухтина есть прелестная прозаическая повѣсть „Изъ дневника Павлика Дольскаго“. Въ этой повѣсти съ поразительною ясностью и художественностью изображена безпомощность обломовца „безъ руля и безъ вѣтриль“ мечущагося по жизненному пути, безъ пользы для другихъ, безъ радости для себя. Павликъ—баричъ, бывшій камеръ-пажъ, потомъ лейбъ-гусаръ, мировой посредникъ и въ концѣ-концовъ великосвѣтскій Обломовъ. Этотъ Павликъ очень не глупъ, но онъ такъ мало сдѣлалъ умнаго въ своей жизни, такъ бессмысленно пусто провелъ эту жизнь, что въ концѣ-концовъ, подводя ей итоги, самъ не можетъ рѣшить: умень онъ или глупъ...

„Умень я или глупъ? — спрашиваетъ себя сорокалѣтній Павликъ. — Еслибы мнѣ врасплохъ предложили подобный вопросъ о комъ-нибудь изъ моихъ знакомыхъ, я бы затруднился на него отвѣтить сейчасъ же безъ размышленія. Я не говорю о генияхъ или идіотахъ, но въдь и тѣхъ, и другихъ немного. Тѣмъ болѣе, мнѣ трудно произнести приговоръ о себѣ. Вообще, понятія объ умѣ весьма разнообразны. Въ обществѣ большею частью называютъ умнымъ того, кто знаетъ наизусть много французскихъ каламбуровъ или кто всѣхъ ругаетъ. Въ ученомъ мірѣ считается умнымъ тотъ, кто имѣлъ терпѣніе или досугъ прочитать наибольшее количество ненужныхъ книгъ; въ дѣловыхъ сферахъ тотъ, кто надулъ наибольшее количество людей. Назвать кого-нибудь умнымъ или глупымъ рѣшительно ничего не стоитъ; это часто зависитъ отъ расположенія духа. Вотъ я назвалъ Марью Петровну неглупой, хотя и разсѣянною женщиной, но когда я это писалъ, я былъ въ благодушномъ настроеніи. Будь я тогда на что-нибудь золъ, я бы смѣло могъ назвать ее глупой, — и право, былъ бы не далекъ отъ истины.

„По моему мнѣнію, — продолжаетъ онъ, — логика единственное мѣрило ума, и съ этой точки зрѣнія я не могу признать себя умнымъ. Часто я дѣлалъ не то, что говорилъ, что думалъ. А между тѣмъ, могу поклясться, что никогда не лгалъ умышленно, съ расчетомъ. Моя старая тетушка Авдотья Марковна, распекая меня однажды за какую-то отроческую шалость, сказала: „Самъ-то ты умный, а башка у тебя глупая“. Мнѣ кажется, что она была права“ ¹⁾.

Тетушка, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ права. Павликъ умень, но голова у него не умная, — въ ней страшный сумбуръ, въ ней нѣтъ ни одного яснаго понятія, все расплывчато, хаотично. Павликъ чувствуетъ, что ему дано кое-что, чувствуетъ, что онъ не воспользовался этимъ, сознаетъ свою полную несостоятельность, но изворачивается и прячется за софизмъ объ относительности понятія „умъ“. Это пріемъ чисто-обломовскій: всѣ обломовцы сознаютъ свою несостоятельность и ищутъ спасенія въ пессимистическихъ взглядахъ на людей вообще, въ „презрѣніи къ людямъ“. Какое право имѣетъ обломовецъ презирать людей, объ этомъ

¹⁾ Соч. Апухтина, стр. 385—386.

онъ себя не спрашиваетъ, какъ не спрашиваетъ себя Павликъ, какое онъ имѣетъ право судить о „дѣловыхъ людяхъ“, какимъ онъ никогда не былъ, или о ненужныхъ книгахъ, которыхъ онъ никогда не читалъ; обломовцу, въ частности Павлику, нужно только оправдаться въ томъ, что хоть „онъ самъ умный, но голова у него глупая“, т.-е. бесполезная для него и для другихъ. Голова же у Павлика дѣйствительно „глупая“, она какъ-то совсѣмъ не участвуетъ въ его жизни и даже не замѣчаетъ противорѣчій послѣдней. Павлику пришлось поработать на поприщѣ общественной дѣятельности; какъ съ типичнымъ обломовцемъ, съ нимъ это могло произойти только случайно: Павликъ былъ лейбъ-гусаромъ, случайно въ Москвѣ онъ встрѣтился съ своимъ другомъ и сосѣдомъ по имѣнію Алешей Оконцевымъ и его женой. Несмотря на дружбу Павлика съ Алешей и на то, что со дня свадьбы послѣдняго прошло нѣсколько мѣсяцевъ, между женой Алеши и Павликомъ возникаетъ связь, и ради этой связи Павликъ выходитъ изъ полка, чтобы принять должность мирового посредника и жить по близости съ Оконцевыми.

Попавъ въ эту струю, Павликъ, благодаря своей идейной безпомощности, безъ всякаго сопротивленія былъ ею подхваченъ и унесенъ. Его дѣятельность совершенно радикально расходилась съ его міросозерцаніемъ и убѣжденіями, но онъ этого не замѣчалъ, да такъ и не замѣтилъ даже черезъ много лѣтъ, когда онъ вспоминалъ объ этомъ случайномъ эпизодѣ своей жизни.

Мы не можемъ не привести воспоминаній милаго, наивнаго Павлика объ его службѣ посредникомъ, такъ какъ эти воспоминанія характерны не только для самого Павлика, но вообще для современнаго ему общества.

„Я родился,—пишетъ Павликъ въ своемъ дневникѣ,—въ дворянской строго-консервативной семьѣ. Воспитаніе въ корпусѣ и служба въ полку еще болѣе укрѣпили это направленіе. Вслѣдствіе главнаго и единственнаго романа моей жизни, о которомъ рѣчь впереди, я вышелъ въ отставку, поселился въ деревнѣ и попалъ въ мировые посредники. Наша губернія отличалась необыкновенно либеральными посредниками и въ числѣ ихъ я былъ однимъ изъ самыхъ либеральныхъ. *Какъ это случилось, я теперь объяснить не могу.*

Впрочемъ, въ то время всѣ понятія перепутались до смѣшного; каждый могъ считать себя чѣмъ угодно. Съ дѣтства мнѣ внушали, что консерваторъ долженъ слѣдовать правительственному направленію, а тутъ случилось, что правительство было либеральнѣе общества. Нашъ губернаторъ—когда-то одинъ изъ самыхъ жестокихъ помѣщиковъ—теперь плакалъ при словѣ: освобожденіе. Конечно, если бы правительство вздумало опять закрѣпостить крестьянъ, его слезы умиленія текли бы еще обильнѣе. Подобно этому губернатору, я громилъ и каралъ гнусныхъ плантаторовъ и крѣпостниковъ во имя либеральнаго направленія, которое для сокращенія тогда называлось просто „честнымъ“. Былъ ли я вполнѣ искрененъ? И да, и нѣтъ, какъ говорила одна знакомая дама, желавшая дать понять, что она все знаетъ, и боявшая попасть въ просакъ. Иногда на меня находили минуты тяжелаго раздумья. Вотъ, думалъ я, дядя Платонъ Маркычъ... до семидесяти лѣтъ прожилъ онъ рыцаремъ чести; доброты онъ необычайной, крестьяне въ немъ души не чаютъ. Но онъ человѣкъ стараго закала, ему съ новыми идеями освоиться трудно, онъ боится для своихъ дѣтей полного разоренія. Что же мудренаго, если онъ отстаиваетъ сколько можетъ свои интересы? Неужели и его слѣдуетъ признать *нечестнымъ*? ¹⁾ Но эти минуты раздумья заглушались шумомъ общихъ совѣщаній и газетныхъ статей, а главное—моды, и мы грѣшили, и карали, и *терроризировали* губернію, не дѣлая никакого различія между людьми вродѣ Платона Маркыча и настоящими (?) корифеями и виртуозами крѣпостного права. Очень можетъ быть, что такое страстное, а слѣдовательно, несправедливое отношеніе къ дѣлу было необходимо для той исторической роли, которую намъ пришлось сыграть. Когда эта роль кончилась, мы сошли со сцены, и я совсѣмъ естественно (?) возвратился въ прежній кругъ людей и понятій. Въ прошломъ году нѣсколько бывшихъ террористовъ сошлись въ Петербургѣ. Я сохранилъ съ ними дружескія отношенія, и мы сговорились вмѣстѣ обѣдать въ ресторанѣ. Сначала мы чувствовали какую-то неловкость, *но подъ вліяніемъ вина* и старыхъ воспоминаній это ощущеніе прошло, и къ концу обѣда пошло опять „крѣпостники“, „честное направленіе“, „борьба съ плантаторами“,

¹⁾ Курсивъ подлин.

весь этотъ арсеналь когда-то страшныхъ, теперь ненужныхъ (?) словъ. Мы вообразили себя опять калѣфами на нѣсколько часовъ. Былъ ли я искрененъ на этотъ разъ? Опять отвѣчу словами знакомой дамы: и да, и нѣтъ. Понятія, сопряженныя съ этими словами, давно отошли въ область анахронизма (?). Прежде эти слова представляли собой наплывъ идей, ломку всей жизни; теперь это вопросъ терминологіи“ (sic).

Эта страничка стоитъ цѣлой диссертациі. Теперь намъ понятны причины столь быстрой и полной реакціи, смѣнившей въ нашемъ обществѣ прогрессивныя движенія 60—70 годовъ. Это они—милые Павлики Дольскіе, либеральнѣйшіе посредники изъ строгихъ консерваторовъ, они—слезоточивые губернаторы прогрессисты изъ бывшихъ крѣпостниковъ—вотъ кто создалъ эту реакцію. Когда прошла мода на „борьбу съ плантаторами“, когда стало невыгодно плакать при словѣ „освобожденіе“, они поворотили оглобли и стали тѣмъ, чѣмъ были. Но еще любопытнѣе эта страничка изъ дневника Павлика, какъ показатель идейной безпомощности русскаго консерватизма. Русскій консерватизмъ—это нѣчто вполне своеобразное, это не консерватизмъ англичанина или француза, отстаивающаго извѣстные *принципы*, извѣстное *свое убѣжденіе*. У русскаго консерватора въ сущности нѣтъ никакихъ принциповъ, ему нечего отстаивать,—все его общественное міросозерцаніе формулируется словами: „чего изволите“ и „радъ стараться“. Русскій консерваторъ не можетъ даже быть „plus royaliste que le roi“—сегодня правительство консервативно—и онъ консерваторъ, завтра правительство стало либерально и русскій консерваторъ сбивъ съ позиціи,—онъ готовъ стать слезоточивымъ генераломъ, или либеральнѣйшимъ посредникомъ. Бѣдные Павлики, они жалки въ своей безпомощности, смѣшны съ своимъ апломбомъ, съ которымъ говорятъ о „рыцаряхъ чести“—Павлахъ Маркычахъ или о „ненужныхъ словахъ“. Бѣдные Павлики, они такъ мало стараются понять окружающія ихъ явленія, что, несмотря на свой, подчасъ несомнѣнный умъ, невольно вызываютъ воспоминаніе о словахъ нашего Павлика.

Но вернемся къ нему, къ нашему добрѣйшему безпомощному Павлику Дольскому, тому самому Павлику, который

колеблется рѣшить, уменъ онъ или глупъ. Павликъ вообще ничего не дѣлаетъ; не чувствуетъ до конца, во всемъ онъ остается дилетантомъ. Онъ — половинчатый консерваторъ, такой же половинчатый и христіанинъ.

„Я человекъ вѣрующій, но недостаточно вѣрующій. Я прочиталъ важнѣйшія сочиненія матеріалистовъ, но недостаточно *увѣровалъ* и въ нихъ. Я убѣдился въ томъ, что помимо всякихъ учений и книгъ, въ глубинѣ каждой человѣческой души таится мысль, что наше существованіе прекратится не можетъ“. Что же такое наконецъ Павликъ Дольскій? Въ качествѣ христіанина — онъ недостаточно вѣрующій, въ качествѣ матеріалиста тоже недостаточно вѣрующій; онъ „вѣруетъ“ только въ безсмертіе своей собственной особы, — черта, во-первыхъ, чисто-обломовская, во-вторыхъ роднящая Павликовъ съ позднѣйшими упадочниками.

Павликъ, если хотите, религіозенъ, хотя по его же словамъ „недостаточно“, но именно въ этой половинчатости его религіозности нельзя не видѣть характерно-русскую черту. Какъ русскій консерватизмъ не похожъ, наприм., на англійскій, такъ и русская религіозность не похожа на англійскую. Образованный англичанинъ, если онъ религіозенъ, то потому, что въ наукѣ онъ нашелъ основы своей религіозности; свою вѣру, каковъ бы ни былъ ея источникъ, онъ обосновываетъ научно. „Павликъ“, „обломовецъ“ религіозенъ потому, что онъ читалъ книжки, но не повѣрилъ имъ, вѣрнѣе — не понялъ ихъ, благодаря своему кадетскому воспитанію, но, благодаря тому же кадетскому воспитанію, онъ беззащитенъ противъ книги, онъ не въ силахъ опровергнуть даже то, что считаетъ ложнымъ, онъ наполовину подчиняется прочитанному. Вотъ и приходится бѣдному Павлику строить свое міросозерцаніе на увѣренности въ безсмертіи своей собственной особы. Какъ краеугольнымъ камнемъ его общественныхъ взглядовъ является классическое „чего изволите“, такъ краеугольнымъ камнемъ его міросозерцанія является далеко не философскій силлогизмъ: „Павликъ живетъ, Павликъ не можетъ себѣ представить, что онъ не будетъ жить, ergo, Павликъ вѣчно будетъ жить, Павликъ безсмертенъ“.

Таковъ душевный багажъ Павлика. Какъ же прошла его

жизнь? Павликъ жилъ какъ бы по рецепту стихотворенія т. Бальмонта:

„Въ жизни, кто оглянется,
Тотъ во всемъ обманется,
Лучше безразсудными
Жить мечтами чудными
Жизнь проспять свою“.

Павликъ не стремится ни къ какой цѣли, ничего не дѣлаетъ, ни во что серьезно не вдумывается, хотя по послѣднему пункту онъ увѣренъ въ противномъ. Павлика судьбою занесло въ мировые посредники и онъ поддался господствующему теченію. Тотъ же романъ, который заставилъ Павлика сдѣлаться посредникомъ, заставляетъ бросить его эту должность, что Павликъ дѣлаетъ безъ колебанія и сожалѣнія; очевидно, борьба съ плантаторами была для Павлика не дѣломъ, а развлеченіемъ, спортомъ, оттого-то онъ и стаде, такъ легко либеральнѣйшимъ изъ посредниковъ, будучи самъ по себѣ „строгимъ консерваторомъ“. Эпизодъ, заставившій Павлика бросить службу посредника самъ по себѣ настолько любопытенъ, что о немъ мы не можемъ умолчать. Алеша Оконцевъ умеръ. Павликъ заподозрилъ и не безъ нѣкоторыхъ, хотя шаткихъ, основаній, что жена отравила Алешу. Не давъ себѣ труда провѣрить это подозрѣніе, Павликъ немедленно бросаетъ все и уѣзжаетъ за границу. Этотъ трусливый и нелѣпый поступокъ лишаетъ жизнь Павлика послѣдняго содержанія. Павликъ обращается въ завсегдатая танцевальныхъ вечеровъ, клуба и журфиксофъ, до 40 лѣтъ остается для всѣхъ Павликомъ, очень сердится на малѣйшіе признаки приближающейся старости, брюзжитъ, недоволенъ человѣчествомъ, смотритъ свысока на такія явленія, которыхъ совѣтъ не понимаетъ, и въ концѣ-концовъ онъ глубоко несчастливъ.

Какъ образецъ высокоумнаго сужденія Павлика о незнакомыхъ ему сферахъ, можно привести слѣдующій отрывокъ:

„Вотъ извѣстный, уважаемый литераторъ Иксъ напечаталъ статью объ общинѣ. Другой не менѣе уважаемый литераторъ Зетъ не любитъ общины и возражаетъ на статью Икса, выражая, впрочемъ, полное уваженіе таланту автора. Иксъ тѣмъ не менѣе недоволенъ и въ своемъ отвѣтѣ заяв-

ляетъ, что Зетъ недостаточно знакомъ съ предметомъ, о которомъ взялся писать. Зетъ съ своей стороны уличаетъ Икса въ невѣрности приведенной имъ цитаты. Полемика разгарается все болѣе и болѣе; въ концѣ-концовъ обмѣнъ мыслей приводитъ Икса къ тому, что онъ намекаетъ на двусмысленное положеніе жены Зета, а Зетъ весьма прозрачно рассказываетъ о томъ, какъ Икса побили при открытіи какого-то увеселительнаго заведенія. Объ общинѣ въ этихъ статьяхъ, къ удивленію и негодованію публики, не упоминается вовсе.

Но въ томъ-то и дѣло, что публика нисколько не удивляется и не чувствуетъ негодованія. Большинство публики гораздо меньше интересуется вопросомъ объ общинѣ, чѣмъ о побитіи Икса и о шашняхъ Зетовой жены“.

Какое высокомеріе! Это божество разсуждаетъ о копошавшихся у ногъ его пигмеевъ, а не милѣйшій Павликъ, тотъ самый Павликъ, о которомъ тетушка его говорила, что „онъ-то самъ уменъ, да голова его не умна“,—говоритъ объ одномъ изъ любопытнѣйшихъ столкновеній различныхъ идеаловъ нашего общества. Да и какъ не быть Павлику высокомернымъ? При его кадетскомъ воспитаніи, при его російскомъ своеобразномъ высокомеріи, какъ не видѣть ему въ спорѣ объ общинѣ нелѣпость? Развѣ можетъ онъ осмыслить этотъ споръ, понять причину его горячности? Это все для него мелочное столкновеніе мелочныхъ людишекъ „изъ поповичей“, какъ же не пойти ему дальше и не заподозрить этихъ мелочныхъ людишекъ въ интересѣ къ шашнямъ Зетовой жены? Для того, чтобъ умѣть уважать что-нибудь, надо имѣть за душой какой-нибудь багажъ, а Павликъ выступилъ въ жизнь совсѣмъ налегкѣ. Этой легкости своего душевнаго багажа Павликъ и обязанъ тѣмъ, что „хотя самъ онъ умный, но голова у него глупая“. Безъ ясныхъ принциповъ, безъ горячей любви къ чему-нибудь, безъ истинной вѣры во что-нибудь, Павликъ, отъ природы одаренный богато, проводитъ всю свою жизнь какъ пустой фатъ. Въ этомъ трагизмъ его положенія, роднящій его уже не съ Ильей Ильичемъ Обломовымъ, а съ болѣе ранними „обломовцами“—Онѣгинымъ и Печоринымъ. Онѣгинъ, еслибъ мы съ нимъ не разстались по волѣ поэта, въ цвѣтущую пору его жизни, лѣтъ въ 40 былъ бы Павликомъ Дольскимъ. Въ

его жизни, какъ въ жизни Павлика Дольскаго, нѣтъ ни цѣли, ни содержанія, они оба не находятъ для себя никакого дѣла по той простой причинѣ, что не знаютъ во имя чего станутъ они это дѣло дѣлать. Обломовцы — праздные люди, чуждые любви къ человѣчеству; ихъ интересы, какъ праздныхъ людей, расходятся съ интересами человѣчества, они лишай—чужеродное растеніе, которое живетъ тѣмъ, что лишаетъ человѣчество части его соковъ. Если бы эти соки нормально утилизировались человѣчествомъ, праздные люди погибли бы, они должны бы либо превратились въ работниковъ, либо исчезнуть. Праздный человѣкъ можетъ добровольно перестать быть таковымъ, отрѣшиться отъ праздности и слиться съ человѣчествомъ, но на такое превращеніе онъ можетъ пойти только во имя овладѣвшей имъ идеи, принципа, во имя новой религіи, понимая это слово широко. Такое превращеніе для празднаго человѣка гораздо труднѣе, чѣмъ можетъ казаться. Если праздный человѣкъ одаренъ богатою натурой, способной къ такому перерожденію, то для него слишкомъ много дорогого связано съ его праздностью. Не только Онѣгинъ и Печоринъ, но и Павликъ Дольскій любятъ въ праздности не ее самое, но ея свободу, ея красоту—возможность наслажденій и не только низменныхъ, но и высокихъ, эстетичныхъ. Въ силу того, что праздному человѣчеству всегда были доступны науки и искусства, что праздные люди обладали большимъ досугомъ и средствами, чтобы наслаждаться твореніемъ и творить, многое прекрасное создано либо празднымъ человѣкомъ, либо для него, и носить на себѣ его отпечатокъ. Разстаться со всѣмъ этимъ, разбить все то, чему, хотя бы лѣнливо, но все-таки поклонялся, праздный человѣкъ не можетъ, какъ бы ни высока была его натура, если имъ не овладѣла новая идея, новая, болѣе жизненная, страстная вѣра. Не сдѣлавши же этого, праздный человѣкъ всегда будетъ отколотъ отъ человѣчества, будетъ брюзжать на него, и втайнѣ, хотя бы по временамъ, презирать и ненавидѣть его, какъ посягающаго на его кумиры. Праздный человѣкъ говорилъ устами Пушкина, когда онъ обращался къ „черни“:

„Подите прочь, какое дѣло
Поэту мирному до васъ
Въ развратѣ каменѣйте смѣло,
Не оживитъ васъ лиры гласъ“.

потому что голосъ „черни“ отвлекалъ его отъ „звуковъ сладкихъ и молитвъ“, его, празднаго человѣка, рожденнаго для наслажденія. Павликъ Дольскій болѣе, чѣмъ кто-либо изъ „обломовцевъ“ далекъ отъ превращенія въ работника, душа Павлика болѣе пуста, чѣмъ душа его предковъ (почему, мы пока говорить не будемъ), естественно потому, что Павликъ болѣе далекъ отъ любви къ человѣчеству, чѣмъ его предки. Павлику она даже кажется чѣмъ-то смѣшнымъ, нелѣпымъ. Смѣяться и видѣть нелѣпость въ томъ, что выше-пониманія—обычное свойство неразвитыхъ людей, а Павликъ, несмотря на свой умъ, принадлежитъ къ числу ихъ. Вотъ, напримѣръ, какъ философствуетъ Павликъ въ часы досуга, когда болѣзнь не позволяетъ ему поѣхать ни въ клубъ, ни на журфиксъ, ни къ своей пріятельницѣ Марѣѣ Петровнѣ.

„Изъ всѣхъ фразъ, — пишетъ Павликъ, — которыми себя убаюкиваютъ люди, нѣтъ фразы болѣе безсодержательной и фальшивой, какъ фраза о любви къ человѣчеству. Я понимаю, что можно любить жену, дѣтей, отца, мать, братьевъ, сестеръ, друзей, знакомыхъ. Я понимаю, что можно любить страну, въ которой мы родились, и, когда отечество въ опасности, пожертвовать для него жизнью. Я понимаю, что можно не только цѣнить умомъ, но до нѣкоторой степени любить и сердцемъ людей незнакомыхъ, чужеземцевъ, если они расширили нашъ умственный горизонтъ, дали намъ художественныя наслажденія или поразили наше воображеніе какими-нибудь подвигами въ различныхъ сферахъ жизни. Но любить всю массу людей только потому, что они люди, — сомнѣваюсь, чтобы кто-нибудь дѣйствительно испыталъ такое чувство. Почему китайцы ближе къ моему сердцу, чѣмъ тѣ минералы, которые лежатъ въ дѣвственныхъ лѣсахъ Америки. Если бы проповыдывали любовь отрицательную, состоящую въ томъ, чтобы не дѣлать, даже не желать зла китайцамъ, такую любовь я допустить готовъ. Но вѣдь я и минераламъ не желаю ничего худого; пускай себѣ лежатъ спокойно въ нѣдрахъ американской земли, пускай и китайцы наслаждаются жизнью въ предѣлахъ Небесной Имперіи. Выходить изъ этихъ предѣловъ я имъ во всякомъ случаѣ не желаю, потому что, еслибъ они захотѣли въ большомъ количествѣ посѣтить Европу, то бороться съ ними было бы не легко.

„Я не знаю, — иронизирует Павликъ, — отчего люди съ широкими и вмѣстительнымъ сердцемъ ограничиваются любовью къ человѣчеству. Можно расширить сферу любви еще больше. Можно приходить въ восторгъ отъ любви ко всему животному царству, потомъ отъ любви къ земной планетѣ, потомъ отъ любви къ солнечной системѣ, наконецъ, отъ любви ко вселенной. Я не понимаю такой всеобъемлющей любви. Пусть любитъ вселенную тотъ, кому въ ней хорошо живется“.

Бѣдный Павликъ сердится на вселенную, но чѣмъ виноваты китайцы, что она Павлику не угодила? Неужели изъ-за этого ихъ такъ-таки приравнять къ минераламъ, покоящимся „въ лѣсахъ (sic) Америки“? Павликъ понимаетъ, что можно любить свою страну (замѣтьте „страну“, а не народъ), но не понимаетъ, какъ можно любить китайца: „чѣмъ китаецъ ближе, чѣмъ минералъ въ лѣсахъ Америки“. Но вѣдь если такъ, то чѣмъ тамбовскій мужикъ ближе, чѣмъ китаецъ, а двоюродный дядя, котораго я никогда не видалъ, или Иванъ Ивановичъ Ивановъ, съ которымъ я два раза игралъ въ винтъ, ближе, чѣмъ тамбовскій мужикъ? И дальше: чѣмъ мой братъ, которому я долженъ отдать часть отцовскаго наслѣдства, ближе Ивана Ивановича, которому я ничего не долженъ отдавать. Почему я могу любить „страну“, т. е. извѣстную часть земной планеты, на которой живетъ нѣсколько милліоновъ тамбовскихъ и иныхъ мужиковъ, нѣсколько милліоновъ евреевъ, нѣмцевъ, калмыковъ и т. д. и не могу любить, напримѣръ, англичанъ, которые дали міру Шекспира, Байрона, Гладстона и т. д.? Почему я долженъ жертвовать собой, когда „отечество въ опасности“, т. е. когда въ страну, гдѣ живутъ нѣсколько милліоновъ тамбовскихъ мужиковъ, киргизъ, самоѣдовъ, чувашей и т. д. придетъ нѣсколько сотъ тысячъ нѣмецкихъ солдатъ, и не долженъ жертвовать собой, чтобъ избавить „человѣчество“, а слѣдовательно и тамбовскаго мужика и можетъ быть двоюроднаго дядю отъ какой-нибудь ужасной болѣзни, наприм., дѣлая опыты съ прививкою холернаго яда?

Упадочники, возводя въ принципъ безучастность ко всему земному, по крайней мѣрѣ послѣдовательны, но Павликъ обнаруживаетъ въ своихъ философствованіяхъ большую непослѣдовательность. Объясняется эта непослѣдовательность

очень просто: Павликъ — „праздный человѣкъ“ и „обломо-
вѣцъ“, онъ слѣдовательно человѣкъ бѣлой кости. Между
людьми его касты и остальнымъ человѣчествомъ нѣтъ ничего
общаго: бѣлая кость чувствуетъ, живетъ, наслаждается,
страдаетъ, остальное человѣчество—это то, чѣмъ прежде
бѣлая кость владела, продавала по-штучно и семьями, что
теперь эксплуатируетъ. Откуда въ аристократической, ка-
детской головкѣ Павлика возьмется уваженіе и любовь къ
этому человѣчеству? Развѣ онъ несетъ общее съ человѣ-
чествомъ бремя труда, развѣ онъ борется за жизнь? Онъ
рожденъ не для житейскаго волненія, не для корысти, не
для битвъ“,—онъ рожденъ, чтобы сидѣть въ халатѣ, танцо-
вать, много ѣсть, много пить, ухаживать, заводить романы,—
однимъ словомъ „наслаждаться“. Но Павлику скучно, „онъ
пережилъ свои желанія, онъ разлюбилъ свои мечты“, да въ
довершеніе всего онъ и стариться началъ. Тутъ Павликъ
влюбляется въ молоденькую дѣвушку и рѣшается, наконецъ,
жениться на ней, чтобы „хоть немного осмыслить свою
жизнь“, какъ онъ самъ выражается. Павлику отказываютъ;
Лиды, молоденькая институтка, которую онъ избралъ себѣ
въ жены, предпочитаетъ пожилому и сильно пожившему
Павлику глупаго, но молодого камеръ-пажа, Мишу Козель-
скаго. Павликъ тогда дѣлаетъ предложеніе тетускѣ этой
самой Лиды, своей пріятельницѣ Марьѣ Петровнѣ, пожилой
вдовѣ генерала; Марья Петровна тоже отказывается. Тогда
Павликъ убѣждается и сознается, что онъ старъ. Павликъ
окончательно падаетъ духомъ и начинаетъ пѣть себѣ от-
ходную. Да онъ, пожалуй, и правъ. Что такое старый Пав-
ликъ? Какой въ немъ смыслъ? Кому онъ нуженъ? Старый
Павликъ—это испорченная игрушка: пружина лопнула, она
не пляшетъ и больше ни на что не годится. Павликъ со-
знаетъ это и начинаетъ снова дуться на вселенную, кото-
рая съ нимъ продѣлала слѣдующую возмутительную неспра-
ведливость:

„Жилъ-былъ на свѣтѣ человѣкъ, котораго знакомые
звали Павликомъ Дольскимъ. Онъ не сдѣлалъ въ жизни
особеннаго зла, но и добра у него было немного. Былъ
онъ, по правдѣ сказать, довольно пустой человѣкъ. Но
все-таки онъ занималъ, какъ человѣкъ, свое определенное
мѣсто, мозгъ его работалъ, сердце горячо и усиленно би-

лось. Онъ много передумалъ и перечувствовалъ, часто желалъ и надѣялся, еще чаще страдалъ и ошибался. Главная бѣда его состояла въ томъ, что онъ ничего не дѣлалъ и слишкомъ долго считалъ себя молодымъ. И вотъ, когда онъ въ этомъ разубѣдился и захотѣлъ хоть немного осмыслить свою жизнь, ему сказали: нѣтъ, теперь поздно. Ты уже не будешь больше ни любить, ни думать (?), ни надѣяться, ни желать, ни ошибаться. Изъ того, что ты дѣлалъ прежде, можешь, пожалуй, еще пострадать въ заключеніе, но и то не долго. А затѣмъ, ты исчезнешь.

„Не знаю, какъ другимъ,—пишетъ Павликъ,—а мнѣ жаль этого бѣднаго Павлика, котораго, не спросясь его согласія, пустили на свѣтъ Божій, и котораго безъ всякой вины высылаютъ обратно“.

Признаемся, и намъ жаль бѣднаго Павлика,—жаль потому, что онъ дѣйствительно безъ толку толкался на свѣтѣ и что сознать это было для него тяжело. Павликъ—несчастный человѣкъ и жалкій въ то же время; мало того, онъ будучи неглупымъ, оставляетъ впечатлѣніе чего-то нелѣпаго: „онъ не глупъ, но голова у него глупая“, такъ опредѣлила его тетушка, да и онъ съ этимъ опредѣленіемъ почти согласенъ. Въ этомъ его отличие отъ предковъ. Онѣгинъ и Обломовъ, наиболѣе сродные Павлику, несчастны, Обломовъ даже жалокъ, но ни одинъ изъ нихъ не смѣшонъ и ни на минуту не покажется глупымъ, а Павликъ забавенъ, и долго нужно къ нему присматриваться, чтобы замѣтить, что онъ не глупъ. Павликъ смѣшонъ, какъ пережитокъ. Было время, когда и Павликъ былъ бы передовымъ человѣкомъ: это время Онѣгиныхъ; смѣнилось одно поколѣніе—и Павликъ является передъ нами въ образѣ добродушнаго, но умнаго Ильи Ильича, который уже нѣсколько комиченъ, еще поколѣніе—и передъ нами нашъ Павликъ Дольскій, жалкій и нелѣпый. Это жизнь ушла впередъ. Онѣгинъ и Обломовъ не отстали отъ жизни (Онѣгинъ идетъ даже впереди ея); они понимаютъ жизнь и сами нужны для современной жизни, необходимы среди современнаго общества: Павликъ уже пережитокъ; это Онѣгинъ нѣсколько износившійся, одряхлѣвшій, среди пустой жизни, забывшій и то, чему онъ учился, „понемногу чему-нибудь и какъ-нибудь“, а главное дѣло—явившійся въ эпоху не соотвѣтствующую его организации, далеко ушед-

шую впередъ. Дѣло въ томъ, что слой общества, къ которому принадлежалъ Онѣгинъ и Павликъ, во времена перваго былъ наиболѣе образованнымъ и наиболѣе вліятельнымъ слоемъ. Имъ опредѣлялась тогдашняя русская жизнь съ ея крѣпостнымъ строемъ. Павликъ родился при иныхъ условіяхъ. Паденіе интеллектуальнаго уровня нашего высшего дворянства, паденіе политическаго и экономическаго значенія этого класса съ освобожденіемъ крестьянъ, развитіе совершенно новыхъ формъ жизни, — все это поставило высшее дворянство въ совершенно новыя условія: этотъ классъ какъ бы потерялъ свой *raison d'être* и началъ атрофироваться. Это одно изъ проявленій современнаго намъ общеєвропейскаго явленія — упадка („декаданса“) празднаго челоѡчества.

Павликъ носитъ на себѣ слѣды этой дегенерации своего общественнаго слоя, среди своихъ онъ не смѣшонъ, напротивъ для свѣтскихъ гостиныхъ, этотъ сорокалѣтній умный мальчикъ — находка; онъ нелѣпъ и смѣшонъ только вслѣдствіе противорѣчія, между его порханіемъ до 40 лѣтъ и тѣми требованіями, которыя предъявляетъ жизнь къ среднему современному челоѡку. Павликъ, подобно Онѣгину, даже выше своего общественнаго слоя, но этотъ слой, нѣкогда передовой, со временъ Онѣгина сталъ въ совершенно инныя отношенія къ остальному обществу. Если Онѣгинъ при тогдашнемъ положеніи своего слоя общества былъ передовымъ челоѡкомъ для всего русскаго общества, то Павликъ, современный выдающійся представитель того же слоя, является уже для остального общества комической фигуркой, жалкой бездѣлушкой, вродѣ тѣхъ фарфоровыхъ куколъ, которыми любятъ украшать свои столики барыни и барышни.

Онѣгинъ выродился въ Павлика, потому что вырождается тотъ слой общества, къ которому они оба принадлежатъ.

Павликъ главный герой Апухтина не случайно. Апухтинъ выразитель именно того общественнаго слоя, героемъ котораго является Павликъ. Наблюденія Апухтина не выходятъ за предѣлы свѣтскаго общества, его настроеніе — настроеніе свѣтскаго челоѡка послѣднихъ десятилѣтій. Талантъ Апухтина очень большой, можетъ-быть первоклассный, школа отличная, — старая дворянская школа, дающая совершенство формы, недоступное современному писателю-работ-

нику. Это школа Пушкина и Тургенева. Но среда не могла дать Апухтину содержания: ей пѣсня спѣта, ей некуда больше идти и поэтъ ей не ведетъ и не зоветъ насъ никуда. Безпокойство Онѣгина, лѣнныя мечты Обломова разрѣшились игрушечной жизнью Павлика, милаго, добраго, но поразительно бесполезнаго, пустого и поэтому даже кажушагося глуповатымъ.

Павликъ для насъ откровеніе: средній русскій человѣкъ нашего времени, такъ или иначе несущій трудовую лямку, не даетъ себѣ отчета въ существованіи до сихъ поръ міра Павликовъ, но Павликъ имѣетъ для насъ интересъ раритета; сочувствовать Павлику, даже понять его хорошенько мы не можемъ; самъ Онѣгинъ намъ ближе и понятнѣе, — настолько далеко разошлись по разнымъ дорогамъ разныя слои нашей интеллигенции.

Давши въ „Дневникъ Павлика Дольскаго“ художественный типъ современнаго празднаго человѣка изъ дворянской среды, въ другомъ своемъ прозаическомъ произведеніи „Архивъ графини Д.“ Апухтинъ даетъ еще болѣе художественное изображеніе того самого общества, среди котораго живутъ Павлики.

„Архивъ графини Д.“ много выше „Дневника Павлика Дольскаго“. Авторъ пристрастенъ къ Павлику, онъ его слишкомъ любитъ, слишкомъ ему сочувствуетъ и какъ бы не замѣчаетъ всего ничтожества, всей бесполезности Павлика.

Въ „Архивъ графини Д.“ онъ объективенъ и потому безпощаденъ. Едва вѣроятная пустота, мелочность и нравственная гниль выведенныхъ Апухтинымъ людей, сдержанная, но глубокая иронія его, душевная боль человѣка задыхающагося среди этого міра, но не могущаго найти выходъ изъ него, — все это звучитъ суровымъ приговоромъ праздному человѣчеству, произносимымъ поэтомъ его.

„Архивъ графини Д.“ — повѣсть въ письмахъ. Эпистолярная форма вообще одна изъ наиболѣе трудныхъ. Апухтинъ избралъ наиболѣе удачный изъ видовъ эпистолярной формы; архивъ — не переписка, а собраніе писемъ къ одному лицу, и это лицо является центральнымъ, оно объединяетъ повѣсть, но героемъ ея не является. Настоящій герой этой повѣсти — свѣтское общество, главный интересъ ея — изобра-

женіе общества. Наша литература вообще не богата хорошими изображеніями общества, интересъ нашихъ писателей привлекаетъ обыкновенно личность, ея развитіе, ея психологія, драмы ея души, хотя бы и вызванныя общественными условіями. Послѣ „Мертвыхъ Душъ“ и „Ревизора“ мы не можемъ указать произведенія, гдѣ бы центръ тяжести былъ въ изображеніи общества, а не личности героевъ. Не удивительно поэтому, что „Архивъ графини Д.“ является однимъ изъ лучшихъ образцовъ изображенія общества въ ндшей литературѣ, но даже въ литературѣ болѣе богатой, чѣмъ наша, „Архивъ“ былъ бы однимъ изъ выдающихся по яркости и талантливости эскизовъ. Сила изобразительнаго таланта Апухтина огромна, и если изъ-подъ пера его вышла вещь хотя и крупная, но не великая, то это объясняется, во-первыхъ, ничтожностью изображаемаго общества, а главнымъ образомъ — потому, что самъ писатель, какъ общественная и интеллектуальная личность, недостаточно возвышался надъ обществомъ, къ которому принадлежалъ. Въ сердцѣ Апухтина не было того огня, которымъ горѣлъ Гоголь, не было его смутнаго, но пламеннаго стремленія къ идеалу. Апухтинъ былъ самъ рабомъ окружавшей его пошлости, оттого онъ не могъ ее бичевать. Но если всмотрѣться въ эту картину, нарисованную полубезсознательно, то впечатлѣніе получается ужасное: передъ нами трупъ въ пестромъ нарядѣ, едва скрывающемъ его гнойныя язвы, его общее разложеніе. Ни капельки смысла въ жизни этихъ людей, ни капельки искренняго чувства въ ихъ сердцахъ, ни намекъ на принципы въ ихъ умѣ, — вотъ полная душевная анархія, среди которой томится единственное, хотя пустое, но маломальски искреннее существо, заброшенное судьбою въ этотъ міръ жалкихъ, пестрыхъ автоматовъ.

Архивъ начинается письмами поклонника графини, промотавшагося камеръ-юнкера Можайскаго, уѣхавшаго изъ Петербурга „спасать остатки своего, когда-то большого, состоянія“. Спасаетъ г. Можайскій свое состояніе самымъ шаблоннымъ путемъ, заложивъ все одесскому греку Сапунопуло. Передъ отъѣздомъ графиня Д. была неожиданно очень любезна съ Можайскимъ и приказала писать, что Можайскій и поспѣшилъ исполнить. Начинаетъ Можайскій очень неувѣренно, сдержанно, очевидно онъ не вѣритъ въ

полноту и серьезность своего успѣха у „царицы петербургскихъ красавицъ“, хотя уже по первому письму видно, что препятствіемъ къ успѣху Можайскій считаетъ не неприступность графини, а близость ея съ нѣкимъ Кудряпинымъ. Графиня отвѣчаетъ на письма Можайскаго, повидимому, очень благосклонно, такъ какъ тонъ Можайскаго быстро мѣняется; въ трегьемъ письмѣ Можайскаго графиня изъ „многоуважаемой“ превращается въ „дорогую“. Вскорѣ оказывается, что по сосѣдству съ имѣніемъ Можайскаго живетъ тетушка графини, Анна Ивановна Кречетова, съ которой графиня была въ ссорѣ, но теперь вдругъ почувствовала потребность примириться и пріѣхать къ ней погостить. Слѣдующее письмо отъ приживалки Анны Ивановны, Василисы Мѣдяшкиной, съ припиской самой тетушки, заключаетъ въ себѣ приглашеніе пріѣхать въ имѣніе Кречетовой—Красные Хрящи. Черезъ нѣсколько времени графиня выѣзжаетъ изъ Петербурга и, встрѣченная Можайскимъ на ближайшей къ Хрящамъ станціи, губ. городъ Слободскѣ, ѣдетъ къ тетушкѣ, а еще черезъ нѣсколько дней навѣщаетъ и Гнѣздиловку—имѣніе Можайскаго. Послѣ такого визита тонъ писемъ Можайскаго къ графинѣ мѣняется рѣшительно: „Милая Китти, —пишетъ онъ,—ради Бога позволь мнѣ пріѣхать въ Хрящи и представь меня тетушкѣ; а это ужасно—жить отъ тебя такъ близко и въ то же время такъ далеко. Будь спокойна, я буду вести себя примѣрно, не выдамъ ни себя, ни тебя“. Немедленно послѣ этого письма въ архивѣ оказывается письмо отъ мужа графини, важнаго петербургскаго сановника. Государственный мужъ одобряетъ поѣздку жены.

„Очень радъ, —пишетъ онъ,—что первыя впечатлѣнія пріятны и что черносливъ понравился тетушкѣ. Я велѣлъ Смурову выслать ей каждую недѣлю по двѣ коробки. Какъ Генрихъ IV сказалъ: „Paris vaut bien une messe“, такъ и я скажу: тетушкины Хрящи стоятъ нѣсколькихъ коробокъ чернослива. Положимъ, мы съ тобой имѣемъ довольно и своего, но сорокъ лишнихъ тысячъ дохода никогда не мѣшаютъ. А у нея, я думаю, не меньше“. Сообщивъ затѣмъ всѣ новости, вродѣ того, что „въ городѣ опять заговорили объ обществѣ спасенія погибающихъ дѣвицъ“ или, что „игра въ клубъ идетъ хорошо“, графъ Д. заканчиваетъ письмо словами: „съ такой женой, какъ ты, можно спокойно спать

во всѣхъ отношеніяхъ“. Графъ Д. вполне спокоенъ, это удивляетъ нѣсколько, что жена засидѣлась въ Москвѣ, но „тамъ живутъ наши родственники“; встрѣча жены съ Можайскимъ его радуетъ: „какое счастье;— пишетъ онъ, — что ты встрѣтила на станціи этого Можайскаго, который досталъ тебѣ карету и лошадей“; въ постскриптумѣ графъ пишетъ: „если встрѣтишь Можайскаго, поблаговари его, отъ моего имени, за все, что онъ сдѣлалъ для тебя“. Проживи нѣсколько времени въ Хрящахъ, въ пріятномъ сосѣдствѣ съ Можайскимъ, графиня выѣзжаетъ въ Петербургъ, призываемая письмами мужа и предсѣдательницы общества спасенія погибающихъ дѣвицъ, кн. Кривобокой, которая ожидаетъ видѣть графиню вице-предсѣдательницей этого общества. По дорогѣ, какъ мы узнаемъ изъ письма Можайскаго и депеши Кудряшина, графиня надолго останавливалась въ Москвѣ, гдѣ ее поджидалъ Кудряшинъ.

Мы познакомились съ графиней: это женщина холодно-развратная, она не увлекается своими любовниками, мѣняетъ ихъ какъ перчатки, держитъ сразу по нѣсколько, и всѣхъ ихъ и мужа морочитъ съ ловкостью, свидѣтельствующей о расчетѣ, съ какимъ она пускается въ свои похождения. Это женщина, которой далеко до средней падшей женщины; развратъ послѣдней—вынужденный нищетою, развратъ графини—развлеченіе, попытка заполнить чѣмъ-нибудь свою безконечно пустую жизнь. Графиня настолько мало увлекается своими любовниками, настолько чужда истиннаго чувства, что даже ревность въ ней не заговорила, когда она узнаетъ, что ея любовникъ женится; она даже совѣтуетъ ему сдѣлать этотъ шагъ, и потомъ съ поразительной ловкостью беретъ его же въ „секретари“ общества, предсѣдательницей котораго состоитъ. Такова центральная женская фигура этой повѣсти; рядомъ съ ней, какъ контрастъ, мы встрѣчаемъ другую женскую же фигуру—пріятельницы гр. Марьи Ивановны Бояровой. Марья Ивановна честнѣе графини и потому несчастнѣе ея. Мужа своего, глупаго Ипполита Николаевича, товарища министра, мѣтящаго въ министры, она презираетъ и ненавидитъ. У нея одинъ любовникъ, кавалеристъ Костя Невѣровъ, его она любитъ горячо и искренно, но за что? Невѣровъ еще глупѣе Ипполита Николаевича; кромѣ того, онъ личность дрянненькая,

единственное его достоинство громадный ростъ,—графъ зоветъ его въ письмахъ къ женѣ „каланчей“. Хуже всего, что Марья Ивановна отлично сознаетъ, что ея герой глупъ: „Я нисколько не ослѣплена насчетъ Кости: Я знаю, что онъ не особенно уменъ, son éducation laisse à désirer, я знаю, что глупо такъ привязываться къ нему, но что же дѣлать, c'est plus fort que moi“... Марья Ивановнѣ даже нравится глупость Кости: „мнѣ стыдно сознаться, что никогда я не люблю Костю такъ сильно, какъ въ то время, когда онъ говорить свои глупости“. Но Костя мало того, что глупъ, онъ грубъ и ревнивъ, оскорбляетъ свою любовницу грубо, безмысленно. Когда Марья Ивановна въ обществѣ провела вечеръ, преимущественно разговаривая съ графомъ Д., Костя сдѣлалъ ей цѣлую сцену ревности и заявилъ, что она „такая женщина, которая готова бросаться на шею всякому штатскому“. И, несмотря на все это, Марья Ивановна глубоко страдаетъ, когда Костя охладѣваетъ къ ней, она подкупаетъ деньщика его слѣдить за нимъ, когда же Костя женится по расчету на безобразной Наденькѣ Кривобокой, Марья Ивановна, совершенно убитая, больная уѣзжаетъ въ деревню, и тамъ съ ней начинается процессъ нравственнаго перерожденія; только тамъ она начинаетъ замѣчать ложь свѣтской жизни, только тамъ она начинаетъ понимать, что для того, чтобы жить человѣческой жизнью, надо подальше уйти отъ этого омута, только тамъ она вспоминаетъ, что у нея есть дѣти...

Таковъ „свѣтлый лучъ“ въ „темномъ царствѣ“, изображенномъ Апухтинымъ; во всякомъ другомъ обществѣ мерцаніе луча показалось бы весьма тусклымъ, но на томъ фонѣ, который составляетъ изображенное въ повѣсти общество, лучъ этотъ горитъ очень ярко. Мы познакомились уже съ одной изъ представительницъ этого общества гр. Д., не лучше и другія. Княгиня Кривобокая, предсѣдательница общества спасенія погибающихъ дѣвицъ, одна изъ интереснѣйшихъ фигуръ повѣсти. Это одна изъ тѣхъ политическихъ дамъ, съ которыми бесѣдуетъ кн. Мещерскій. Она очень интересуется положеніемъ Европы, она собирается вышій и послать въ Римъ папѣ туфли, не даетъ ей покоя также Бисмаркъ съ англичанами; она не ѣдетъ на балъ въ англійскомъ посольствѣ „изъ патріотизма“, потому что англичане

„гдѣ могутъ, кладутъ палки въ наши колеса“; ей не нравится политическое положеніе Европы. „Хотя никакихъ особенныхъ извѣстій нѣтъ,—пишетъ она,—но я убѣждена, что Бисмаркъ опять что-то замышляетъ, что именно, я еще не знаю, и это меня беспокоитъ“. Не мало беспокоится она и изъ-за общества, которое одинъ изъ зятьевъ ея называетъ „обществомъ спасенія на нѣсколько часовъ отъ тещи“, но въ сущности у нея только два интереса къ жизни: во-первыхъ, насолить своей пріятельницѣ Аннѣ Михайловнѣ; во-вторыхъ, выдать замужъ послѣднюю дочь, Наденьку. Послѣднее желаніе даже, быть можетъ, является причиной вражды къ Аннѣ Михайловнѣ, такъ какъ она отбила у Наденьки для своей дочери жениха. Этого жениха княгиня считаетъ дуракомъ, другихъ зятьевъ ненавидитъ, но все-таки сбыть дочь, во что бы то ни стало, считаетъ нужнымъ, и для этого она рѣшается на все, даже проситъ, графиню Д. „дѣлать глухое ухо“, если она услышитъ, что кто-нибудь собирается похитить Наденьку, чтобы съ нею обвѣнчаться. Наконецъ, ей удается выдать дочь за Костю Невѣрова, о романахъ и глупости котораго она отлично знаетъ, но ужъ больно ей хочется сбыть засидѣвшуюся въ дѣвицахъ дочь. Графиня Анна Михайловна хлопочетъ о томъ же, и довольно успѣшно, возбуждая даже зависть кн. Кривобокой. Рассказывая о своихъ неудачахъ съ Наденькой, кн. Кривобокая говоритъ: „Вотъ графиня Анна Михайловна это очень понимаетъ. Устроила она въ прошломъ году у себя живыя картины и поставила свою Катю изображать Орлеанскую дѣву. Поднимается занавѣсъ, и вижу я Катю почти что совсѣмъ раздѣтую. Ну, думаю себѣ, какая же это Орлеанская дѣва? Это, напротивъ того, прекрасная Елена! А Анна Михайловна при этомъ еще поясняетъ мнѣ: „Костюмъ Катинъ вполне историческій, вы видите: и шлемъ, и латы лежатъ на землѣ, но только моя Катя избрала такой моментъ, когда Орлеанская дѣва хочетъ прилечь и отдохнуть“. Вотъ и не удивительно, что послѣ этого ея Катя осталась недолго Орлеанской дѣвой, и въ тотъ же вечеръ за ужиномъ этотъ дурачокъ Ѳедя Вараксинъ, который до того ухаживалъ за Наденькой, сдѣлалъ предложеніе Катѣ. Что значитъ удачно выбрать моментъ. Графиня Анна Михайловна крайне чехвальна и чопорна: когда секретарь общества спасенія поги-

бающихъ дѣвицъ Оптинъ назвалъ ее въ протоколѣ Анной Ѳедоровной, княгинѣ Кривобокой пришлось ѣхать къ ней извиняться; когда приглашеніе на малый балъ во дворцѣ нѣсколько запоздало, Анну Михайловну застали въ слезахъ; она страшно хлопочетъ, чтобъ ея зятя Вараксина сдѣлали камеръ-юнкеромъ, и впопыхахъ даже написала вмѣсто „камеръ-юнкеръ“ „камеръ-пажъ“, что дало поводъ лицу, которому она сильно надоѣла своими просьбами, посоветывать ей обратиться въ пажескій корпусъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Анна Михайловна очень строга къ другимъ; когда пріѣхала въ Петербургъ нѣкая Нина Карская, бывшая героиня какой-то скандальной исторіи въ Парижѣ, и возмущенное этой исторіей свѣтское общество рѣшило не принимать ее, Анна Михайловна долъше всѣхъ крѣпилась; впрочемъ, блестящіе балы Нины Карской сломили и ея „pruderie“ и она стала добиваться приглашенія на такой балъ черезъ знакомыхъ. Изъ молодыхъ женщинъ, кромѣ графини Д. и Марьи Ивановны Бояровой, мы видимъ въ повѣсти двухъ молодыхъ дамъ: Нину Карскую и баронессу Визенъ. Баронесса Визенъ, эта „вѣстница Европы“, какъ ее называетъ Ипполитъ Николаевичъ Бояровъ, вся ходячая сплетня и сплетня злостная, ядовитая; передать какую-нибудь сенсационную новость, посмотреть, какъ она поразитъ кого-нибудь изъ ея пріятельницъ, распустить объ этой пріятельницѣ какую-нибудь гадость — вотъ цѣль ея существованія. Нина Карская — героиня парижской авантюры, о характерѣ которой мы ничего не знаемъ, женщина ловкая, она прекрасно понимаетъ свѣтское общество и, вернувшись въ Петербургъ, безъ труда заставляетъ заискивать у себя тѣхъ, кто передъ этимъ не хотѣлъ ее принимать. Авантюра Нины была, повидимому, не изъ невинныхъ, такъ какъ на нее ополчилась даже М. И. Боярова.

„Угадай, — пишетъ она, — кто у меня былъ вчера? Нина Карская! Я думала, что послѣ ея парижскихъ скандаловъ она не посмѣетъ появиться въ обществѣ. Я, конечно, ее не приняла, надѣюсь, что и ты не примешь. Она пріѣхала въ Петербургъ такъ рано для того, чтобы отдѣлать совсѣмъ заново свой домъ. Она собирается много принимать зимой, но кто же къ ней поѣдетъ? Надо же, наконецъ, дѣлать различіе между развратными женщинами и... другими“.

Судя по этимъ отзывамъ, можно думать, что Нина Карская была особа врядъ ли терпимая въ порядочномъ обществѣ, и если ей удалось, по выраженію ея пріятельницъ, „reprendre sa place dans le monde avec plus d'éclat que jamais“, то причиной этому является не ея нравственное возрожденіе (тотчасъ же послѣ своей „тріумфальной зимы она снова умчалась за границу неизвѣстно куда и зачѣмъ), не все прощающая снисходительность общества, а причины совсѣмъ другого свойства.

Та же Мери Боярова послѣ своего перерожденія даетъ прекрасное объясненіе этихъ причинъ:

„Когда я вошла, — пишетъ она, — меня поразили составъ общества; конечно, это произошло случайно. Насъ было семь или восемь женщинъ, изъ которыхъ у каждой была связь въ свѣтѣ, и каждая знала, что другія это знаютъ. Мужчины, бывшіе на вечерѣ, конечно, знали тоже; развѣ какой-нибудь иностранецъ изъ дипломатовъ могъ не знать, да и то врядъ ли. Дипломаты, посѣщающіе баронессу, знаютъ все. Ну, кажется, что бы ужъ тутъ гордиться? А между тѣмъ, какъ величаво мы кланялись и переходили съ мѣста на мѣсто, какой былъ высоко-поднятый тонъ разговора, какъ строго мы судили о лицахъ нашего круга и съ какимъ высокомернымъ презрѣніемъ относились ко всему остальному человечеству! Между прочимъ, рѣчь зашла объ этой бѣдной дѣвушкѣ... ну, знаешь, которая была лектрисой у графини Анны Михайловны и погибла изъ-за любви къ ея сыну... Боже мой, какіе громы негодованія посыпались на эту несчастную! И странно, что больше всѣхъ негодовала и кричала Нина Карская, которую, три мѣсяца передъ тѣмъ, никто не хотѣлъ принимать въ Петербургѣ“.

Эти слова вполнѣ объясняютъ характеръ негодованія, вызваннаго въ свѣтѣ поступкомъ Нины; негодованіе это было лживымъ, показнымъ, негодовавшіе не имѣли права негодовать, потому, что болѣе всего кричали тѣ же Нины Карскія. Атмосфера порока насквозь пропитываетъ все это общество, Нины Карскія въ немъ на каждомъ шагу; даже благочестивыя старушки этого общества — это тѣ „черти“, которыя подъ старость стали „отшельниками“. Такова и мать Кости Невѣрова.

„Съ его матерью,—пишетъ княгиня Кривобокая,—я была знакома въ молодости, она и тогда уже начинала пошаливать; но когда она бросила свой чепецъ черезъ мельницу, я перестала ее видѣть. Теперь она женщина благочестивая и почтенная, преосвященный Никодимъ знаетъ ее хорошо“; даже у тетушки изъ Красныхъ Хрящей и у той, по отзыву графа Д., „было въ молодости похожденій не мало“. Таковы женщины того слоя общества, который рисуетъ Апухтинъ и представителемъ котораго является; мужчины этого же круга столь же пошлы и безсодержательны; кромѣ того, нѣкоторые изъ нихъ жалки и комичны, вслѣдствіе полного противорѣчія между той общественной ролью, которую имъ выпало на долю играть, и полнымъ нравственнымъ убожествомъ; таковъ, напримѣръ, злополучный Йпполитъ Николаевичъ, который мѣтитъ въ министры, или графъ Д. Первое мѣсто среди мужчинъ занимаетъ Можайскій, къ которому, повидимому, лежатъ симпатіи автора, который наиболѣе является „героемъ“. Можайскій—свѣтскій левъ, но человѣкъ не бездушный; онъ способенъ искренно увлечься, подлость онъ дѣлаетъ только послѣ извѣстной нравственной борьбы. Главный его недостатокъ, какъ и Павлика, что у него ни малѣйшаго намека на убѣжденія, идеалы, цѣль жизни; когда онъ говоритъ объ идеалахъ, становится ясно, что у него нѣтъ даже представленія о томъ, что такое идеаль; это типичнѣйшій праздный человѣкъ, неспособный ни къ какому дѣлу, даже плохо понимающій, что можетъ быть дѣло. Можайскій, когда-то очень богатый человѣкъ, прожилъ свое состояніе и рѣшилъ его спасать, при помощи весьма простой комбинаціи: онъ заложилъ всѣ свои имѣнія нѣкому греку Сапунопуло. Спасеніе своеобразное, но вполне въ духѣ праздныхъ людей бѣлой кости. Развѣ не видимъ мы тысячи ни къ чему не способныхъ господъ Можайскихъ въ роли неисправныхъ кліентовъ дворянскаго банка. Господа Можайскіе—это дѣти, они сами неспособны ничего рѣшительно сдѣлать, имъ нужна нянюшка, какъ Облomu нуженъ крѣпостной Захаръ; они созданы крѣпостнымъ бытомъ и внѣ его имъ нѣтъ спасенія, развѣ только пойти въ земскіе начальники. Можайскій дѣлается альфонсомъ, хотя и „легализованнымъ“, женясь на дочкѣ своего кредитора Сапунопуло. Женится онъ съ отвращеніемъ, невѣста ему про-

тивна, онъ называетъ ее „грѣшнымъ орѣхомъ“, „ходячей желтой лихоралкой“, но тѣмъ не менѣе онъ даже не дѣлаетъ попытки устроить свои дѣла иначе, онъ чувствуетъ свою безпомощность къ какому бы то ни было труду, занятію, онъ сдается сразу греку, желающему завести знатную родню, потому что безъ денегъ онъ нуль, хуже нуля,—отрицательная величина,—ненасытная утроба, не умѣющая добыть ничего; но тутъ же онъ толкуетъ объ идеалахъ; какой жалкой ироніей звучитъ это слово въ устахъ человѣка, подобнаго Можайскому! Пославъ графинѣ Д. извѣстіе о своей свадьбѣ отъ своего имени и отъ имени жены, онъ приписывается:

„Я разрываю конвертъ, чтобы исправить редакцію моего извѣщенія. Надо читать такъ: Александръ Васильевичъ Можайскій съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаетъ о кончинѣ всѣхъ своихъ дорогихъ и извѣстныхъ идеаловъ, послѣдовавшей 10 октября въ городѣ Одессѣ послѣ продолжительной и тяжелой борьбы“.

Идеалъ Можайскаго — быть любовникомъ гр. Д. (какіе же иные „идеалы“ погибли съ женитьбой?); не мудрено поэтому, что Можайскій, оказавшись по пріѣздѣ въ Петербургъ „секретаремъ“ графини и получивши возможность проводить пріятные часы на интимныхъ засѣданіяхъ „общества спасенія погибающихъ дѣвицъ“ на Васильевскомъ Островѣ, куда не проникаютъ даже „всевидающія очи баронессы Визень“, сталъ чувствовать себя вполне удовлетвореннымъ и заботился лишь о томъ, чтобы найти какого-нибудь „египтолога“, который сталъ бы разбирать съ его женой іероглифы.

Другой любовникъ графини, Кудряшинъ — кутила и забулдыга, онъ живетъ цыганами, кутежами и любовными авантюрами, пишетъ онъ телеграммами, письмо написать ему, очевидно, лѣнь да и трудно. Это совсѣмъ ужъ старинный типъ, такіе люди въ 20—30-хъ годахъ служили въ гусарахъ, дрались на дуэляхъ, бывали за панибрата и съ людьми серьезными, потомъ они исчезли въ другихъ слояхъ общества, сохраняясь только „въ свѣтѣ“, этой социологической Австраліи, гдѣ вся жизнь носитъ черты весьма отдаленной фоомации. Третій изъ „героевъ“ — Костя Невѣровъ, тотъ самый, изъ-за котораго изнываетъ Марья Ивановна Боярова,

совершенная тупица, единственное достоинство котораго — геркулесовское сложеніе. Костя не просто дуракъ, онъ дуракъ, онъ дуракъ съ направленіемъ, онъ стремится „согнуть въ бараній рогъ“ всѣхъ и каждого, даже мужа своей любовницы, товарища министра Ип. Ник. Боярова, который ему кажется слишкомъ либеральнымъ. Ип. Ник. тоже глупъ, хотя и умнѣ Кости; это типичный изсушенный бюрократъ у котораго всѣ чувства вывѣтрились, кромѣ одного непомернаго чиновничьяго самолюбія, единственная цѣль его жизни—быть министромъ, для этого хашить онъ свою жену снова въ омутъ петербургской жизни, изъ котораго она ушла измученной и изломанной; тудшая обида для него это сказать, что „человѣка съ такой кислой физіономіей никогда не сдѣлаютъ министромъ“. Онъ постоянно говоритъ, что уйдетъ въ частную жизнь, но ни за что этого не сдѣлаетъ, потому что какъ Можайскій безъ денегъ, такъ онъ безъ своего служебнаго положенія прямо теряетъ смыслъ своего существованія, онъ слишкомъ ничтоженъ, слишкомъ пустъ, и уйди онъ въ частную жизнь, его убожество обнаружится со всей своей очевидностью. Графъ Д. любопытный образецъ свѣтскаго джентльмена съ совсѣмъ не джентльменской душой; онъ безукоризненъ до того момента, пока не оказывается обманутымъ въ своихъ ожиданіяхъ наслѣдства; тутъ его жадная, мелкая душонка сказывается съ неожиданной яркостью; въ Красныхъ Хрящахъ, когда онъ пріѣхалъ на похороны тетушки, видъ присланной изъ Петербурга коробки чернослива, одной изъ тѣхъ, при помощи которыхъ онъ рассчитывалъ получить ускользнувшее наслѣдство, его выводитъ изъ себя, и онъ, совершенно измѣнивъ тонъ, начинаетъ вспоминать былые грѣхи только что умершей тетушки. Таковы представители „бѣлой кости“ въ повѣсти Апухтина, но въ ней есть еще одно лицо, безусловно принадлежащее къ праздному человѣчеству, но не принадлежащее къ „бѣлой кости“. Это лицо—Софья Сапунопуло, потомъ Можайская. Она по рожденію принадлежитъ къ богатой буржуазіи.

Буржуазія составляетъ часть празднаго человѣчества, но часть болѣе новую; она стремится слиться и сливается съ бѣлой костью, но слилась еще не вполне. Было время, когда буржуазія въ нашей литературѣ идеализировалась. Костан-

жогло, Штольцы, Адуевы—все это интеллигентные буржуа, создававшіе себѣ состоянія. Противопоставляя ихъ представителямъ бѣлой кости — обломовцамъ съ одной стороны, нашимъ природнымъ некультурнымъ буржуа — Титъ Титычамъ, съ другой, совершенно естественно впасть въ идеализацію этого, тогда еще только что нарождавшагося на Руси, типа. Интеллигентный буржуа, несомнѣнно, выше и Тита Титыча, и обломовца, уже потому, что онъ сила, что онъ работаетъ, что у него есть воля и знаніе. Но если всмотрѣться въ него поближе, то легко убѣдиться, что онъ настолько же выше представителя бѣлой кости, насколько мелкій департаментскій чиновникъ, безъ усталы строчащій ненужныя бумаги, выше своего начальника, эти бумаги только подписывающаго. Буржуа работаетъ, чтобы составить состояніе и стать „празднымъ человѣкомъ“; „бѣлая кость“—его идеаль, онъ тянется къ ней, онъ готовъ унижаться, холопствовать, идти на всякія жертвы, на всякія сдѣлки съ совѣстью. Но даже если буржуа еще не на высотѣ, если онъ долженъ работать, если онъ еще не смѣетъ мечтать о приобщеніи себя или своихъ дѣтей къ бѣлой кости, онъ стремится подражать ей, копировать ея бытъ, привычки, костюмъ, образъ жизни. Это копированіе бѣлой кости — истинное проклятiе, тяготѣющее надъ интеллигентнымъ буржуа. Для того, чтобы окружить себя обстановкой, которая бы напомнила обстановку „бѣлой кости“, онъ будетъ работать дни и ночи, надрывать свои силы. Но въ то же время въ душѣ онъ „праздный человѣкъ“, трудъ для него не потребность, не долгъ, а средство походить на чистаго представителя празднаго челоѣчества.

Одесскій грекъ Сократъ Сапунопуло типичный буржуа, онъ еще работаетъ, но уже достигъ предѣльной точки, когда буржуа считаетъ возможнымъ почить на лаврахъ; теперь ему остается только вступить въ ряды „бѣлой кости“ если не самому, то хоть въ лицѣ своего потомства, и онъ выдаетъ свою дочь за промотавшагося барича камергера Можайскаго, которому нужно поправить свои дѣла. Софья Сапунопуло много выше представительницъ бѣлой кости, она гораздо умнѣе ихъ, у нея есть, хотя вѣроятно не глубокое, но все-таки есть, уваженіе къ наукѣ и искусству, она способна интересоваться не только сплетнями баронессы Визенъ, но и египетскими древностями, и Эсхилломъ. Но при всемъ томъ

она становится женой хлыща Можайскаго, заискиваетъ у его любовницы, чтобы проникнуть въ салоны петербургскихъ львицъ, настолько сильно для буржуазіи обаяніе мишуры, окружающей бѣлую кость. Это явленіе чрезвычайно любопытное, и притомъ не только русское, даже не столько русское, сколько общеевропейское. Буржуазія, бывшая передовымъ классомъ, пока была классомъ рабочимъ, вездѣ проявляетъ склонность сливаться съ празднымъ человѣчествомъ и превращаться въ таковое; вмѣстѣ съ тѣмъ въ среду буржуазіи все сильнѣе и сильнѣе проникаетъ разложеніе, а съ нею разлагаются и созданныя ею формы жизни, деградируетъ аристократическо-буржуазная культура. Но вернемся къ нашей повѣсти. Мы познакомились со свѣтскимъ обществомъ, изображеннымъ „*par lui même*“. Послѣ такого знакомства для насъ понятнѣе станетъ и личность главнаго героя Апухтина — Павлика Дольскаго. Какъ Павликъ, обмельчавшій преемникъ Онѣгина, такъ и общество являющееся передъ нами въ „Архивѣ графини Д.“ обмельчавшіе преемники той русской аристократіи, среди которой красовалась когда-то величавая личность Чаадаева. Во времена Пушкина и Чаадаева свѣтское русское общество, будучи частью празднаго человѣчества, было въ то же время носителемъ культурныхъ началъ; мало того, міровыя задачи, стоявшія тогда передъ человѣчествомъ, не противорѣчили существованію празднаго человѣчества. Съ тѣхъ поръ, во-первыхъ, упалъ уровень культурности русскаго свѣтскаго общества; во-вторыхъ, прежній общественный строй Россіи, основанный на крѣпостномъ правѣ, замѣнился новымъ, въ которомъ гораздо большую роль стала играть денежная буржуазія; наконецъ, передъ европейскимъ человѣчествомъ открылись новыя задачи, при которыхъ праздное человѣчество, безразлично, принадлежитъ ли оно къ „бѣлой кости“, или же къ „чумазой“ буржуазіи, въ силу положенія вещей, оказалось элементомъ консервативнымъ, тормозящимъ прогрессивное развитіе новыхъ началъ.

Носительницей прогрессивныхъ идей оказалась небольшая горсть идейной интеллигенціи, тогда какъ громадное большинство, со свѣтскимъ обществомъ во главѣ, оказалось чуждымъ и даже враждебнымъ задачамъ эпохи. Результатомъ этого явился, во-первыхъ, упадокъ идейной производитель-

ности, — упадокъ естественный и неизбежный, такъ какъ контингентъ идейной интеллигенціи былъ доведенъ до минимума, состоящаго къ тому же изъ разрозненныхъ единицъ, теряющихся, подавленныхъ враждебными элементами; съ другой стороны — упадокъ культурнаго духа и общая деградация остальной части интеллигенціи. Но, утративши свою прежнюю культурную роль, аристократически-буржуазное человѣчество теряетъ свои права на существованіе. Атмосфера, которой дышитъ это общество, становится все болѣе и болѣе удушливой, безнадежный пессимизмъ, попытки вырваться изъ-подъ гнета его, направленныя, вслѣдствіе враждебности съ запросами жизни, въ область экзотическаго и извращеннаго, — вотъ естественныя послѣдствія культурно-историческаго кризиса, переживаемаго нашимъ обществомъ. Жить въ такія эпохи, и въ такой средѣ, трудно; время и среда налагаютъ отпечатокъ на личную жизнь человѣка, тѣмъ болѣе на жизнь поэта, организація котораго всегда отличается особенной чуткостью; не мудрено, что жизнь Апухтина не была такимъ сплошнымъ праздникомъ, какимъ можно было бы счесть ее, познакомившись съ внѣшней біографіей поэта, и что въ его лирикѣ преобладали грустныя, безнадежныя ноты.

Мы уже видѣли, что въ юношескій періодъ своей поэтической дѣятельности Апухтинъ являлся съ ясно выраженными чертами „празднаго человѣка“. Мы видѣли также, что уже въ юношескомъ періодѣ Апухтинъ не былъ свободенъ отъ общей всѣмъ поэтамъ празднаго человѣчества черты — преувеличенія значенія любви, стремленія его заполнить свою пустую жизнь. Общество, среди котораго пришлось жить Апухтину, не могло дать никакого противовѣса этимъ чертамъ и они могли только развиваться и окрѣпнуть. Дѣйствительно, любовь является преобладающимъ элементомъ въ лирикѣ Апухтина до самаго конца его жизни. Въ любви онъ искалъ счастья и наслажденія, но, какъ всегда бываетъ, находилъ больше горя и мукъ, такъ какъ любовь сама по себѣ не можетъ дать счастья, хотя, быть можетъ, является однимъ изъ важнѣйшихъ условій послѣдняго. Любовныя драмы, которыя переживалъ поэтъ, отразились въ одномъ изъ любопытнѣйшихъ произведеній его: „Годъ въ монастырѣ“. Если общество, изображенное въ повѣстяхъ Апухтина, пред-

ставляетъ благопріятную почву для „упадочничества“, если настроеніе Павлика Дольскаго порой напоминаетъ бальмонтовскую „Ночь“, то герой „Года въ монастырѣ“ уже стоитъ на порогѣ упадочничества. Это — свѣтскій человѣкъ, „бѣжавшій“ въ монастырь. Онъ пишетъ:

„О, наконецъ, изъ вражескаго стана
Я убѣжалъ, израненный боецъ!...
Изъ міра лжи, измѣны и обмана
Полуживой я спасся, наконецъ!
Въ моей душѣ ни злобы нѣтъ, ни мщенья,
На подвиги и жертвы я готовъ.
Обитель мира, смерти и забвенья,
Прими меня подъ твой смиренный кровъ!“

Герой повѣсти именно „бѣжить“ въ монастырь, его влечетъ туда не сила убѣжденій, ему просто надоѣла свѣтская жизнь, ему нужно куда-нибудь уйти и онъ уходитъ въ монастырь. Почему именно въ монастырь, намъ объяснять слѣдующія его слова:

„Итакъ, свершилось, я монахъ!
И въ первый разъ, въ своей одеждѣ новой
Ко всенощной пошелъ. *Въ ребяческихъ мечтахъ*
Мнѣ такъ пламенно звучало это слово
И раемъ монастырь казался мнѣ тогда.
Потомъ я въ омутъ жизни окунулся
И вѣру потерялъ... Но вотъ прошли года,
И къ дѣтскимъ грѣзамъ снова я вернулся“.

Бѣгство въ монастырь для нашего героя — бѣгство отъ дѣйствительности въ область „грѣзъ“. Это — характернѣйшій признакъ декадентствующаго празднаго человѣка, у него нѣтъ „дѣла, которое было бы святыней“, ему скучно и онъ уходитъ отъ дѣйствительности, куда его ведетъ фантазія (Ростана, въ „Принцессѣ Грѣзъ“, г. Бальмонта, — на башню „ловить уходящія тѣни погасавшаго дня“, нашего героя — въ монастырь). Насколько мало серьезности, силы убѣжденія въ его монашескомъ фарсѣ, можетъ показать все его поведеніе въ монастырѣ, все его отношеніе къ послѣднему. Религіозности, которая оправдывала бы поступленіе въ монастырь, у нашего героя нѣтъ. Онъ пишетъ въ дневникѣ:

„Невѣріе мое меня томить и мучить.
Я слѣпо вѣрить не могу.
Пусть разумъ—вѣры врагъ и насъ лукаво учитъ,
Но нехотя внимаю я врагу.“

Увы, заблудшая овца я въ Божьемъ стадѣ...
Нашъ ризничій, извѣстный Варлаамъ,
Читалъ сегодня проповѣдь объ адѣ.
Подробно, радостно, какъ будто видѣлъ самъ,
Описывалъ, что дѣлается тамъ:
И стоны грѣшниковъ, молящихся о пощадѣ,
И совѣсти, и глазъ, и рукъ, и ногъ
Разнообразныя страданья.
Я заглушить въ душѣ не могъ негодованья.
Ужели правосудный Богъ
За краткій мигъ грѣхопаденья
Насъ мукой вѣчною казнить?
И вечеромъ побрелъ я въ скитъ,
Чтобъ эти мысли и сомнѣнья
Повѣдать старцу. Старецъ Михаилъ
Отчасти только мнѣ сомнѣнья разрѣшилъ.
Онъ мнѣ сказалъ, что, вѣрно, съ колыбели
Во мнѣ все мысли грѣшныя живутъ,
Что я смердящій песъ и дьявольскій сосудъ...
Да, помыслы мои успѣха не имѣли!"

Это тотъ же Павликъ Дольскій; человѣкъ вѣрующій, но недостаточно вѣрующій, прочитавшій матеріалистовъ, но не увѣровавшій въ нихъ, — другими словами, безпомощный человѣкъ съ хаосомъ въ головѣ.

Игра „въ монахи“ заставляетъ его обманывать самого себя, прикидываясь если не вѣрующимъ, то желающимъ вѣрить; въ сущности же онъ относится къ своему учителю, — кстати сказать, „столпу обители“, — съ нѣкоторою скрытою ироніей: эта иронія звучитъ и въ приведенномъ отрывкѣ. Еще яснѣе она въ слѣдующихъ словахъ:

„Потомъ (Михаилъ) повелъ меня въ *подполье*
И показалъ мнѣ гробъ, въ которомъ тридцать лѣтъ
Спитъ, какъ мертвецъ, онъ, саваномъ одѣтъ,
Готовая къ жизни безконечной...
Я съ умиленіемъ и горестью сердечной
Смотрѣлъ на этотъ одръ унынья и борьбы.
Но старецъ спитъ въ немъ только лѣтомъ.
Теперь въ гробу суровомъ этомъ
Хранятся овощи, картофель и грибы“.

Бѣглеца открыли, братъ пишетъ ему письмо, убѣждая прекратить эту „эскападу“, сообщаетъ, что онъ сталъ посмѣшищемъ свѣта; бѣглеца это не трогаетъ:

„Теперь, когда съ людьми всѣ связи порваны,
Какъ сами мнѣ они и жалки и смѣшны.
Мнѣ дѣла нѣтъ до мнѣнья свѣта“.

восклищаетъ онъ съ высокомеріемъ, которое вообще въ духѣ упадочниковъ, но тутъ же онъ дѣлаетъ оговорку:

„Но мнѣнiе одно хотѣлъ бы я узнать...
Что говорить *она*? Впервые слово это
Я заносу въ заветную тетрадь...
Ее не назвалъ я... но что-то
Кольнуло сердце, какъ ножомъ.
Ужель ничѣмъ, ничѣмъ: ни трудною работою,
Ни долгою молитвою, ни постомъ
Изъ сердца вырвать не придется
Воспоминаній роковыхъ?
Оно, какъ прежде, ими бьется,
Они и въ снахъ, и въ помыслахъ моихъ.
Смѣшно же лгать передъ самимъ собою...
Но этихъ помысловъ я старцу не открою“.

Между тѣмъ эти помыслы не покидаютъ нашего героя. „каноны“, слова молитвы постоянно чередуются съ помыслами о „ней“; въ одинъ изъ дней онъ вспоминаетъ въ своемъ дневникѣ исторію любви къ „ней“; изъ воспоминаній ясно, что если у него было божество, то не то, которому онъ хотѣлъ теперь молиться, а „она“.

„Въ угоду ей, я сталъ рабомъ,
Я поборолъ въ себѣ и ревность, и желанья;
Безропотно сносилъ, когда съ моимъ врагомъ
Она спѣшила на свиданье.
Но этимъ я не могъ ее смягчить...
Съ какимъ разсчитаннымъ стараньемъ
Умѣла мнѣ она всю душу истомить
То жесткимъ словомъ, то молчаньемъ!
И часто я хотѣлъ ей въ сердце заглянуть;
Въ недоумѣнны молчаливомъ
Смотрѣлъ я на нее, надѣясь что-нибудь
Прочестъ въ лицѣ ея красивомъ.
Но я не узнавалъ въ безжалостныхъ чертахъ
Черты, что были мнѣ такъ дороги и милы.
Онѣ въ меня вселяли только страхъ...
Два года я терпѣлъ и мучился въ цѣпяхъ,
Но наконецъ терпѣть не стало силы...
Я убѣждалъ...“

Можно ли представить рабство болѣе тяжелое и позорное, чѣмъ это? А между тѣмъ „праздный человѣкъ“ беззащитенъ въ подобныхъ случаяхъ, не имѣя никакихъ нравственныхъ устоевъ, не имѣя въ душѣ святыни, онъ по-неволѣ ставитъ все свое существованіе на карту единственнаго

сильнаго чувства, доступнаго ему,—любви къ женщинѣ, и становится рабомъ этого чувства. Женщина, сумѣвшая овладѣть имъ, становится его божествомъ. и онъ, „не могущій заглушить въ душѣ негодованія“ при мысли, что „правосудный Богъ, за краткій мигъ грѣхопаденья, насъ мукой вѣчною казнить“, онъ спокойно переноситъ муки отъ своего божества, часто ничтожнаго, какъ тѣ женщины свѣта, съ которыми мы познакомились въ повѣсти „Архивъ графини Д****“. Въ подобномъ положеніи оказался и герой нашей повѣсти: женщина, игравшая имъ, овладѣла его душой настолько, что освободиться отъ ея власти онъ не въ силахъ напрасно онъ живетъ въ монастырѣ, напрасно поетъ каноны,—истиннымъ божествомъ его является только „она“. Онъ уже наканунѣ постриженія, какъ вдругъ онъ получаетъ записку отъ „нея“ и моментально бросаетъ все—и монастырь, и свое намѣреніе поступить въ монахи, и спѣшитъ снова стать ея рабомъ... Какъ бы для контраста съ декадентствующимъ празднымъ человѣкомъ, вздумавшимъ подъ влияніемъ неудачной любви поиграть въ монахи, въ той же повѣсти изображенъ идеалистъ изъ народа, человѣкъ, для котораго религія—дѣйствительно „религія“, „святыня сердца“ какъ говоритъ Добролюбовъ.

Этотъ человѣкъ—молодой послушникъ Кирилль. Единственный сынъ богатаго сибирскаго купца, онъ пришелъ въ монастырь, потому что „вѣрой пламенной душа его горѣла“ и въ монастырѣ онъ „всѣ привлекъ сердца своею кротостью и вѣрой безъ предѣла“. Отецъ и мать розыскали Кирилла. Вотъ какъ рисуетъ поэтъ драматическую сцену встрѣчи молодого послушника съ родными:

Вся братія стояла у собора,
Кирилль молчалъ, не поднимая взора.
Отецъ, осанистый, сѣдой какъ лунъ старикъ.
Степенно началъ рѣчь, но столькохъ впечатлѣній
Не вынесла душа: онъ головой поникъ
И сталъ предъ сыномъ на колѣни.
Онъ заклиналъ его Христомъ
Вернуться снова въ отчій домъ,
Онъ говорилъ, какъ жизнь ему посылала.
На что богатства мнѣ? Кому ихъ передать?
Кирюша, воротись! Возьметъ меня могила,—
Опять придешь сюда: тебѣ недолго ждать!
Игумень отвѣчалъ краснорѣчиво, ясно,

онъ живеть для наслажденій, его религіозность не исканіе правды, а исканіе ощущенія, которое когда-то было пріятно. Это тоже любопытная черта роднящая Апухтина съ декадентами. Религіозное чувство упадочниковъ носить въ себѣ кое-что декоративное, порой даже нѣчто чувственное; это погоня за обстановкой и ощущеніями. Надо думать, что это то же чувство, которое влекло римлянъ временъ упадка къ разнымъ варварскимъ культамъ Востока. У Апухтина смѣшеніе религіозныхъ мотивовъ съ эротическими не приняло такого явно скандализирующаго характера, какъ у нѣкоторыхъ изъ французскихъ декадентовъ, но чередованіе „Ночей безумныхъ“ и „Геосиманскаго сада“, „Реквіема“ и „Chanson à boire“ производитъ довольно странное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что нашъ поэтъ далеко не былъ однимъ изъ тѣхъ поэтовъ, къ которымъ примѣнимо было бы пушкинское сравненіе съ эхомъ, а отзывался только на то, что находило созвучье въ его сердцѣ.

Какъ герой „Года въ монастырѣ“ не нашелъ покоя въ монастырской кельѣ, такъ нашъ поэтъ не могъ найти хотя бы временнаго успокоенія въ своемъ своеобразномъ религіозномъ чувствѣ. Жизнь была для этого баловня судьбы тяжелымъ бременемъ, онъ прожигалъ ее, онъ искалъ счастья въ любви, пытался прикинуться религіознымъ, но всегда встрѣчалъ только муки и разочарованіе. Между тѣмъ его даровитая натура предъявляла къ жизни большіе запросы; не получая удовлетворенія ихъ, онъ страдалъ глубоко и истинно. Однимъ изъ лучшихъ памятниковъ этихъ страданій осталось великолѣпное, чуть ли не единственное въ своемъ родѣ стихотвореніе „Изъ бумагъ прокурора“. Это стихотвореніе является въ то же время суровымъ приговоромъ надъ „празднымъ человѣчествомъ“.

„Праздный человѣкъ“, наскучивъ своей пустой жизнью, безъ цѣли, безъ дѣла, безъ „сердечной святыни“, измученный погоней за наслажденіемъ и любовью, рѣшается покончить съ собою. Онъ совершенно одинокъ, у него нѣтъ ни близкихъ, ни друзей, его ничто не привязываетъ къ жизни, умирая, ему ничего и не о чемъ сказать. Но онъ человѣкъ; умереть молча, уйти изъ міра такъ, чтобы никто не зналъ, почему онъ ушелъ, для него слишкомъ трудно и онъ рѣшается написать предсмертное письмо знакомому прокурору.

занимающемуся вопросом о самоубійствѣ. Этотъ человѣкъ опять-таки напоминаетъ Павлика: во-первыхъ, онъ тоже „самъ умный, да голова у него глупая“. Онъ очень уменъ, но глупо провелъ свою жизнь, глупо кончилъ ее, и далеко не умно философствуетъ. Онъ уменъ настолько, что ясно понимаетъ причину своего несчастья, понимаетъ, почему онъ несостоятеленъ, но онъ такъ сросся съ своимъ положеніемъ, что ни на моментъ не можетъ отрѣшиться отъ того, что губить его; констатировавъ свою болѣзнь, онъ и не думаетъ о возможности лѣчить ее, напротивъ, онъ начинаетъ громить человѣчество и презирать его,—пріемъ чисто-обломовскій, барскій. Онъ говоритъ:

„Я жилъ, какъ многіе, какъ всѣ почти живутъ
Изъ круга нашего, я жилъ для наслажденья,
Работника *здоровый, бодрый трудъ*
Мнѣ не знакомъ былъ съ самаго рожденья“.

Казалось бы, такое сознаніе должно бы повести къ перерожденію, казалось бы, что, сознавъ несостоятельность своей жизни для наслажденья, надо бы почувствовать уваженіе къ „здоровому, бодрому труду“ и стремиться къ нему. Но нашъ обломовецъ поступаетъ иначе, онъ пишетъ:

„Когда-жъ при свѣтѣ разума и книгъ
Мнѣ въ даль вѣковъ пришлось углубиться,
Я человѣчество столь гордое постигъ,
Но не постигъ того, чѣмъ такъ ему гордиться?“

Далѣе онъ начинаетъ говорить уже тономъ свѣтила небеснаго, бросившаго взоръ на жалкій муравейникъ земли:

„Близъ солнца, на одной изъ маленькихъ планетъ
Живетъ двуногій звѣрь не крупнаго сложенья,
Живетъ сравнительно еще немного лѣтъ
И думаетъ, что онъ вѣнецъ творенья;
Что всѣ сокровища еще безвѣстныхъ странъ,
Для прихоти его природа сотворила,
Что для него реветъ въ часъ бури океанъ.
И борется звѣрокъ съ судьбой насколько можно,
Хлопочетъ день и ночь о счастіи своемъ,
Съ расчетомъ на вѣка устраиваетъ домъ...
Но вѣтеръ на него пахнулъ неосторожно —
И нѣтъ его... пропалъ и слѣдъ...
И, умирая, онъ не знаетъ,
Зачѣмъ явился онъ на свѣтъ,
Къ чему онъ жилъ, куда онъ исчезаетъ“.

Павликъ Дольскій также съ высоты своего величія рассуждалъ о любви къ человѣчеству, о спорахъ по поводу общины и т. д. Для свѣтила небснаго все это, конечно, мелочи, все это суета муравьевъ, но какое право имѣютъ такъ относиться къ человѣчеству, къ его заботамъ, тѣ кто до нихъ даже не доросъ? Этотъ тонъ свѣтила небснаго въ устахъ человѣка, бездѣльничавшаго всю жизнь, свидѣтельствуется только о томъ, насколько этотъ человѣкъ чуждъ жизни, насколько праздность стала его органическимъ состояніемъ и насколько онъ самъ мало способенъ понять жизнь человѣчества, понять его скорби, нужды, его борьбу. Нашъ герой и не понимаетъ жизни, для него вся жизнь человѣчества какая-то бессмысленная грызня. Непосредственно за приведеннымъ отрывкомъ въ его письмѣ къ прокурору слѣдуютъ такіа слова:

„При этой краткости житейскаго пути,
Въ такомъ убожествѣ невѣдѣнья, безсилья,
Должны бы спутники соединить усилья
И дружно общій крестъ нести...
Нѣтъ, люди,—эти бѣдные микробы—
*Другъ съ другомъ борются, полны
Незлой зависти и злобы.*
Имъ слезы ближняго нужны,
Чтобъ жизнью наслаждаться вдвое.
Имъ больше горя нѣтъ, какъ счастье чужое!
Власти, рабы, народы, племена,—
Всѣ дышатъ лишь враждой, и всѣ стоятъ на стражѣ..
Куда ни посмотри, вездѣ одна и та же
Упорная, безумная война!“

Марья Ивановна Боярова въ эпоху своего перерожденія писала своей пріятельницѣ графинѣ Д***, что учитель ея сына, тотъ самый, что спорилъ съ Костей Невѣровымъ (вообще, повидимому, наивный и недалекій человѣкъ), задумалъ было познакомить ее, Марью Ивановну, съ дарвиновскою теоріей борьбы за существованіе. Марья Ивановна кое-какъ запомнила слова учителя и сравниваетъ эту борьбу съ борьбой, которую ведутъ между собою свѣтскія дамы. Разница между борьбой, о которой говорилъ учитель, и борьбой свѣтскихъ дамъ, по мнѣнію Марьи Ивановны, та, что первая необходима для существованія, вторая же для него не нужна. Привычку видѣть вокругъ себя эту нелѣ-

пую борьбу мелочныхъ самолюбій свѣтскихъ праздныхъ людей и вносить нашъ герой въ свои сужденія, о жизни человѣчества: для него жизнь человѣчества, его борьба — только нелѣпая зависть и злоба, только борьба самолюбій, какъ въ окружающемъ его обществѣ. Ему нечего отстаивать, ему не за что бороться, у него нѣтъ „сердечной святыни“, —какой же смыслъ имѣть для него борьба человѣчества. Полная глубокаго трагизма драма—въ его глазахъ, глупый, но тяжелый фарсъ. Такое отношеніе неизбѣжно вытекаетъ изъ положенія нашего героя и того класса общества, къ которому онъ принадлежитъ. Этотъ классъ живетъ совершенно особой тепличной жизнью, его интересы не только не совпадаютъ съ интересами массъ человѣчества, но диаметрально расходятся съ ними; борьба этихъ массъ за жизнь —для празднаго человѣчества порожденіе зависти и злобы. Насколько мало понимаетъ эту борьбу нашъ герой, показываетъ лучше всего сопоставленіе имъ самимъ своего самоубійства съ рядомъ другихъ самоубійствъ. Онъ самъ покончилъ съ собой изъ-за скуки жизни, въ основѣ которой все та же неизмѣнная у празднаго человѣчества любовь. Но онъ считаетъ свой поступокъ равносильнымъ поступку тѣхъ, кого привела къ смерти жизненная борьба въ той или другой формѣ. Онъ говоритъ:

„Вотъ застрѣлился гимназистъ,
Не выдержавъ экзамена... Онъ, право,
Не меньше виноватъ. Съ платформы подъ вагонъ
Прыгнулъ сѣдой банкиръ, сыгравшій неудачно;
Повѣсилъ бѣднякъ затѣмъ, что жилъ невзрачно,
Что жизни благами не пользовался онъ..

О, эти блага жизни!... Съ наслажденьемъ
Я-бъ отдалъ ихъ за жизнь лишній и труда...
Но только-бъ мнѣ забыть прожитые года,
Но только бы я могъ смотрѣть не съ отвращеньемъ,
А съ теплой вѣрой дѣтскихъ дней
На лица злобныхъ людей“.

Такимъ образомъ смерть бѣдняка, не выдержавшаго борьбы съ нуждой, ставится на одну доску со смертью пресыщеннаго барича, его трагическій конецъ сравнивается съ крахомъ, вызваннымъ душевной несостоятельностью человѣка, который даже самъ видитъ выходъ изъ своего положенія въ „работника здороваго, бодрого труда“, но который не

имѣть смѣлости пойти по этому пути. Случай, когда праздный человѣкъ рѣшался на такой шагъ, не рѣдки; у насъ даже создалось особое выраженіе для такого человѣка: это — выраженіе „кающійся дворянинъ“; къ тому же разряду праздныхъ людей, добровольно избравшихъ путь „работника здороваго и бодратаго труда“, принадлежитъ цѣлая серія нашихъ культурныхъ работниковъ изъ празднаго человѣчества, но для такого здороваго труда нужно имѣть и здоровую натуру, нужно, чтобы во время явилось въ сердцѣ „исканіе правды“, исканіе „сердечной святости“, а для этого условія жизни празднаго человѣчества чѣмъ дальше, тѣмъ меньше представляютъ благопріятнаго. Правда все дальше и дальше уходитъ отъ празднаго человѣчества, замыкающагося въ отстаиванье своей праздности, и шагъ къ правдѣ становится все труднѣе для празднаго человѣка, самоотрѣченіе его при этомъ шагѣ становится все большимъ и большимъ. Современный праздный человѣкъ часто видитъ правду, но пойти ей на-встрѣчу не въ силахъ. Точно также современный праздный человѣкъ часто видитъ горе истинное, не призрачное горе, пойметъ его, даже глубоко пойметъ, но не поспѣшитъ ему на помощь, а съ тоской отвернется и поспѣшитъ найти утѣшеніе въ „грезахъ неясныхъ“, „за предѣлами“.

Таковыми бываютъ иногда лучшіе изъ поэтовъ упадка, таковъ и герой „Письма прокурору“. Въ тишинѣ ночи онъ слышитъ свистокъ локомотива и говорить:

„О, этотъ звукъ давно ужъ мнѣ знакомъ!

Въ часы безсонницы до бѣшенства, до злости,

Бывало онъ терзалъ меня,

Напоминая близость дня...

Кто съ этимъ поѣздомъ къ намъ ѣдетъ? Что за гости?

Рабочіе, конечно, бѣдный людъ...

Изъ дальнихъ деревень они сюда везутъ

Здоровье, бодрость, силы молодые,

И все оставить здѣсь...”

Да, нашъ герой видитъ не призрачное страданье; казалось бы, тому, кто томится безцѣльностью своей жизни, какъ не искать цѣли въ борьбѣ съ этимъ сознаннымъ зломъ, какъ не отдать свою постылую жизнь, чтобы искупить хоть каплю этихъ страданій; но праздный человѣкъ слишкомъ сказывается въ немъ, онъ слишкомъ привыкъ къ культу

наслаждений, къ культу своего я, чужое горе его заставляет страдать, но онъ только отворачивается отъ этого горя.

Герой „Письма къ прокурору“ кончаетъ свою жизнь самоубійствомъ, потому что ему слишкомъ душно жить. Дѣйствительно, жить при такомъ міросозерцаніи, такомъ настроеніи невыносимо тяжело. Въ жизни нѣтъ цѣли, нѣтъ святыни, нѣтъ любви. Разрывъ между личностью и человѣчествомъ уже совершился, личность томится своимъ одиночествомъ, пустотой жизни и ищетъ исхода въ самоубійствѣ. Настроение этой личности, изображенной Апухтинымъ въ превосходномъ стихотвореніи—письмѣ, весьма близко къ настроенію самого поэта. Тѣ мотивы, которые мы находимъ въ его поэзіи, звучатъ въ униссонъ съ страданіями и жалобами несчастнаго самоубійцы, созданнаго имъ съ такой творческой силой. Та же любовь-рабство, культъ страсти, тотъ же пессимистическій взглядъ на людей, та же тоска, то же отсутствіе идеаловъ и цѣли!

Для нашего поэта разрывъ между личностью и человѣчествомъ тоже совершился, его личность также безпомощна. Тотъ душевный гнетъ, который преслѣдуетъ упадочниковъ, который заставляетъ ихъ стремиться „за предѣлы“, уже знакомъ нашему поэту, онъ уже на порогѣ упадка. Но съ другой стороны, нашъ поэтъ—последній чистый представитель блестящей литературной школы, давшей намъ величайшихъ писателей-художниковъ школы, которую можно бы назвать дворянской школой. Если въ культурѣ всего міра праздное человѣчество играло выдающуюся роль, если большинство выдающихся произведеній созданы вышедшими изъ рядовъ празднаго человѣчества, и вся европейская культура носитъ отпечатокъ празднаго человѣчества, то у насъ на Руси ту же роль играло дворянство.

Не удивительно поэтому, что кризисъ, переживаемый празднымъ человѣчествомъ вообще и русскимъ дворянствомъ въ частности, отразился упадкомъ на культурѣ и въ частности на литературѣ, созданной этими классами. Но западное праздное человѣчество живучѣе нашего дворянства. Хотя буржуазія, съ тѣхъ поръ какъ ея интересы стали въ противорѣчіе съ интересами народныхъ массъ, не можетъ быть передовымъ классомъ, особенно въ такой историческій моментъ, задача котораго—прогрессъ массъ, все-таки бур-

жуазія сильна, ея агонія будетъ упорна и медленна, но какое сопротивленіе ходу событій могутъ оказать Павлики Дольскіе? Отъ нихъ нельзя ждать возрожденія, а слѣдовательно то, чего носителемъ является это общество — на порогѣ упадка, и обновленіе на иныхъ началахъ идейности и служеніе прогрессу массъ для нашей литературы и образованности является еще болѣе необходимымъ, чѣмъ для западной.

III.

М. Горькій и его общественное значеніе ¹⁾.

Надо быть человѣкомъ безвременья, человѣкомъ, сознательная жизнь котораго началась не ранѣе половины 80-хъ годовъ, который сложился и живетъ подъ постояннымъ гнетомъ условій этой тоскливой эпохи, чтобы почувствовать всю прелесть и силу произведеній Горькаго. Для людей, жившихъ другой, болѣе счастливой жизнью, этотъ здоровый, но тоскующій талантъ съ его порывами изъ „ямы“, порывами неопредѣленными, но страстными, всегда останется нѣсколько чужимъ, за то для человѣка, жизнь котораго протекаетъ въ ямѣ безвременья, произведенія Горькаго являются лучемъ солнца, свѣжей струей воздуха, внезапно ворвавшимся въ душный и темный подвалъ, чтобы напомнить, что есть на свѣтѣ ясное синее небо, жаркое солнце, ароматные изумрудные луга, напомнить и поманить усталыхъ, апатичныхъ обывателей ямы къ свѣту и простору. Гдѣ онъ, этотъ свѣтъ и просторъ, какъ къ нему выйти изъ ямы—этого не говорятъ намъ произведенія Горькаго, но напомнить о свѣтѣ и просторѣ тѣмъ, кто ни того ни другого не видѣлъ, кто пересталъ даже мечтать о нихъ, кто свыкся уже съ „ямой“ настолько, что готовъ ее признать вѣковѣчнымъ неизбѣжнымъ мѣстомъ заключенія человѣчества, это заслуга такая, которая сама по себѣ обезпечиваетъ талантливому писателю почетное мѣсто на страницахъ исторіи русской литературы. Между тѣмъ эта сторона творчества Горькаго менѣе всего

¹⁾ Было напечатано въ „Образованіи“, 1901 г.

оттѣнена критикой, которая, сходясь за самымъ небольшимъ исключеніемъ, въ признаніи талантливости Горькаго, даетъ весьма сбивчивые отвѣты на вопросы, что такое представляетъ изъ себя этотъ писатель и чѣмъ объяснить его колоссальный успѣхъ.

Горькій, если знакомиться съ его литературной физиономіей по критическимъ статьямъ о немъ, писатель „босяцкій“. „Босяки“ и „герои Горькаго“ эти два выраженія стали равносильными; толкуютъ о „босяцкой“ психологіи, разыскиваютъ „босяцкія“ черты у героевъ, ничего общаго по своему социальному положенію съ босяками неимѣющихъ, удивляются, что „босяки“ являются будто бы у Горькаго какой то философствующей разновидностью рода человѣческаго. Съ особенной яркостью это „босяцкое“ толкованіе Горькаго выразилось въ работѣ г. Андреевича ¹⁾, который договорился до того, что „босякъ немножко нитцшеанецъ“ и разыскалъ босяцкія черты у Пьера Безухова. Ранѣе г. Андреевича характеризовалъ Горькаго, какъ писателя, разрабатывающаго міръ золоторотцевъ, Н. К. Михайловскій, писавшій о Горькомъ еще до появленія „Θомы Гордѣева“, „Мужика“, „Кирилки“, когда такое опредѣленіе имѣло гораздо больше основаній, чѣмъ теперь. Если бы Горькій былъ дѣйствительно только писателемъ, разрабатывающимъ міръ босяковъ, то какъ ни интересенъ и ни своеобразенъ этотъ міръ, произведенія Горькаго остались бы не болѣе какъ пикантной новинкой, литературной рѣдкостью; ихъ читали бы съ любопытствомъ, но Горькій не сдѣлался бы въ короткое время излюбленнымъ писателемъ, скажемъ болѣе, почти „властителемъ думъ“ нѣкоторой части общества. Очевидно, въ произведеніяхъ Горькаго есть нѣчто, помимо новизны разрабатываемаго имъ міра босяковъ, нѣчто, находящее созвучія въ психическомъ мірѣ читателей, дающее отвѣтъ на ихъ запросы. Выясненіе этого „нѣчто“ будетъ, по нашему мнѣнію, выясненіемъ общественнаго значенія Горькаго, первымъ же шагомъ къ такому выясненію будетъ опредѣленіе того, что такое представляютъ собой герои Горькаго и каково ихъ отношеніе къ босякамъ и босячеству. „Босяки“

¹⁾ Въ журналѣ „Жизнь“ и отдѣльно „Книга о М. Горькомъ и А. П. Чеховѣ“. Спб. 1900

или „золоторотцы“—явленіе знакомое не только нашей русской жизни. Это тотъ же самый классъ людей, который извѣстенъ подъ именемъ Lumpenproletariat'a.

Необходимо выяснитъ, дѣйствительно ли Горькій ставитъ своей задачей воспроизведеніе быта этого класса, или пристрастіе нашего писателя къ босякамъ объясняется условіями его прошлой жизни и тѣмъ, что среди босяковъ онъ находитъ матеріалъ, наиболѣе соотвѣтствующій его художественнымъ цѣлямъ. Нѣкоторыхъ изъ своихъ героев-босяковъ Горькій выдѣляетъ изъ общей босяцкой массы; объ одномъ изъ характернѣйшихъ своихъ героев, Коноваловѣ, онъ говоритъ:

„Съ внѣшней стороны Коноваловъ до мелочей являлся типичнѣйшимъ золоторотцемъ; но, увя! чѣмъ больше я присматривался къ нему, тѣмъ больше убѣждался, что имѣло съ разнообразіемъ, нарушавшей мое представленіе о людяхъ, которыхъ давно пора считать за классъ и которые вполне достойны вниманія, какъ сильно алчущіе и жаждущіе, очень злые и далеко не глупые“... ¹⁾).

Въ этой характеристикѣ класса босяковъ, изъ котораго выдѣляется Коноваловъ, нѣтъ именно того, что является наиболѣе характернымъ у излюбленныхъ героев Горькаго—вѣчнаго душевнаго безпокойства, порыва въ даль, туманную, неясную даль, заставляющаго этихъ героев бросать подчасъ всѣ блага жизни, для иллюзіи свободы—бродячей жизни босяка. Босяки въ массѣ только злы, голодны и не глупы, босякъ Коноваловъ поэтъ въ душѣ съ неистощимой, хотя и смутной, жаждой свободы и познанія смысла жизни. Коноваловъ типъ родственнѣйшій цѣлому ряду другихъ типовъ Горькаго: сапожникъ Орловъ, миллионеръ купецъ Оома Гордѣевъ, наборщикъ Гвоздевъ, всѣ они подобно Коновалову воплощеніе стихійнаго протеста противъ „ямы“. Эти люди, несмотря на разницу въ общественномъ положеніи и темпераментѣ, сейчасъ бы поняли другъ друга и столковались бы; ихъ всѣхъ мучитъ одно смутное, но сильное чувство—ненависть къ пошлости окружающей жизни, ненависть, тѣмъ болѣе мучительная, что дѣйствительности они не могутъ противопоставить сколько нибудь яснаго идеала. Настроеніе это,

¹⁾ Т. 2, стр. 24.

принять за настоящий день, котораго такъ страстно ждали. Стали спѣшить что то дѣлать. Лишніе люди стали не въ модѣ; Тургеневъ взялъ на прокатъ у болгаръ „лишняго“ человѣка—Инсарова, на сцену выступилъ якобы противоположны обломовцу разночинецъ и кающійся дворянинъ. Если вдумываться во все это теперь, то оно покажется столь же „лишнимъ“ т. е. не имѣющимъ ничего общаго съ фономъ дѣйствительности, какъ и жизнь прежнихъ героевъ 20-хъ и 40-хъ годовъ, но тогда это все не казалось лишнимъ, и типъ лишняго человѣка былъ затемненъ. Когда отхлынула волна, поднявшаяся въ 60-хъ годахъ, у насъ вмѣсто прежнихъ одиночекъ лишнихъ людей оказался цѣлый классъ ихъ, классъ, который одинъ изъ современныхъ талантливыхъ писателей мѣтко окрестилъ именемъ „Чужестранцы“. „Чужестранцы“ это та часть интеллигенціи, которая, подобно лишнимъ людямъ, не находитъ въ жизни ни дѣла ни мѣста. Различіе ихъ отъ прежнихъ „лишнихъ людей“, во первыхъ, въ сознаніи собственнаго безсилія, которое было чуждо всѣмъ ихъ предшественникамъ до кающихся дворянъ включительно, во вторыхъ, въ томъ, ~~что они еще болѣе лишніе, чѣмъ сами лишніе люди, тѣмъ болѣе не могутъ~~ такъ много болтать, какъ болтали Рудинъ, и ~~часть тѣхъ~~ свободы передвиженія, ~~выручавшей~~ Онегина и Рудина, ~~какъ~~ чужестранцевъ сравнительно много, они уже не новы и не интересны. И вотъ въ то время, когда лишній человѣкъ изъ интеллигенціи, этой пестрой амальгамы съ дворянской основой, обесцвѣчалъ и растворяется въ массѣ, на сцену является ~~лишній~~ ~~человѣкъ~~ изъ низшихъ, до сихъ поръ безмолвныхъ, слоевъ общества (Орловъ, Коноваловъ, Гвоздевъ) или изъ купечества (Тома Гордѣевъ). Подобно первымъ лишнимъ людямъ изъ дворянства, онъ является съ чертами героическими сильнаго исключительнаго человѣка. Лишніе люди Горькаго изъ всѣхъ своихъ предшественниковъ наиболѣе близки, какъ это ни странно, къ Печорину. Онегинъ еще слишкомъ уравновѣшенный человѣкъ, жизнь не была для него въ такой степени ямой. Печоринъ—человѣкъ болѣе глубокаго безвременья; жизнь его совсѣмъ уже лишняя; онъ не знаетъ, куда дѣвать ее, ставить ее на карту при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ и кончаетъ, какъ истинный босякъ, безцѣльнымъ путешествіемъ въ Персію. Отношеніе Печо-

рина къ женщинамъ весьма напоминаетъ отношеніе босняка Коновалова: онъ любитъ и любимъ, но не дорожитъ привязанностью, готовъ порвать ее каждую минуту подъ вліяніемъ смутной, но сильной, тоски, стихійнаго порыва. Какъ Орловъ, онъ золь, точнѣе злится на весь міръ; какъ у Орлова, у него неутолимая жажда жизни и сознаніе пустоты. Гвардейскій офицеръ и сапожникъ—одинаково выбитые изъ колеи люди, нежелающіе покориться и гибнущіе въ борьбѣ съ имъ невѣдомымъ врагомъ. Въ томъ же родѣ купецъ Гордѣевъ: „подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури“, у него въ рукахъ милліоны—величайшая сила, доступная человѣку въ наше время, а онъ томится, жадно ищетъ чего то что ему самому не ясно, но къ чему съ неудержимой силой влечетъ его, ищетъ смысла жизни и гибнетъ, не находя его. Даже такъ называемое „нитцшеанство“ новыхъ лишнихъ людей напоминаетъ „байронизмъ“ прежнихъ. Мы не будемъ останавливаться пока на вопросъ о томъ, насколько Нитцше повліялъ на Горькаго и было ли такое вліяніе, но если оно и было, то, очевидно, Горькій вынесъ изъ той среды, изъ которой онъ вышелъ, настроеніе подготовляющее почву для воспріятія нитцшеанства. Воспринимается извнѣ обыкновенно то, что въ зародышѣ уже заключено въ дѣятельность воспріимчиваго, и, воспринимаясь, перерабатывается согласно съ содержаніемъ внутренняго міра: Роднитъ лишнихъ людей Горькаго съ Печоринымъ и ихъ непосредственность: лишніе люди Тургенева „заблѣны рефлексіей“, воля у нихъ ослаблена анализомъ, они уже чувствуютъ себя слабыми, являясь въ этомъ отношеніи предшественниками „Чужестранцевъ“; герои Горькаго и Печорины—люди стихійные, философствованіе не мѣшаетъ имъ оставаться такими, задерживающіе центры у нихъ еще слабы.

Такимъ образомъ, излюбленные герои Горькаго—безпокойные, лишніе люди, изображеніе которыхъ красной нитью проходитъ черезъ всю его литературную дѣятельность—это Печорины изъ босяковъ и купцовъ. Ихъ авторъ выдѣляетъ изъ ихъ среды, награждая „искрой Божіей“—смутнымъ, но страстнымъ, исканіемъ смысла жизни, тоской по невѣдомому, но необходимому для нихъ, идеалѣ. Критика не разъ уже ставила вопросъ, поскольку эти черты присущи героямъ—и поскольку онѣ принадлежатъ автору. Если смотрѣть на

Горькаго, какъ на писателя, разрабатывающаго міръ босяковъ, и на его героевъ, какъ на типичныхъ представителей этого міра, черты эти пришлось бы безъ колебаній признать навязанными героямъ авторомъ, но мы указывали уже, что самъ авторъ не считаетъ своихъ излюбленныхъ героевъ типичными босяками: Коноваловъ онъ прямо выдѣляетъ изъ этой среды, Орловъ становится босякомъ только въ концѣ, не найдя смысла жизни, котораго онъ жадно искалъ, Гвоздь и Оома Гордѣвъ ничего общаго не имѣютъ съ міромъ босяковъ. Все это натуры болѣе или менѣе исключительныя, выдѣляющіяся изъ своей среды. Въ такихъ натурахъ подобное настроеніе предположить легче. Мы видимъ, какъ превращается въ босяка подѣ влияніемъ тоски сапожникъ Орловъ, какъ гибнетъ Оома Гордѣвъ. Условія, которыя губятъ того и другого, ясны, хотя далеко не ясно, почему именно у этихъ людей зародилось сознаніе безсмысленности ихъ жизни, котораго не замѣчаетъ масса другихъ людей, находящихся въ одинаковыхъ съ ними условіяхъ. Почему одинъ человѣкъ задумывается надъ своей жизнью, старается осмыслить ее, другой же этого не дѣлаетъ, будучи часто не менѣе умнымъ и одареннымъ; это одинъ изъ безнадежныхъ вопросовъ. Мы можемъ установить только, что Горькій съ особенной любовью останавливается именно на такихъ типахъ, для которыхъ исканіе смысла жизни необходимость, и что эти типы имѣютъ нѣчто родственное съ его собственной душой. Заключать отсюда, какъ дѣлаетъ, напримѣръ, г. Александровскій, что Горькій, подобно Байрону, каждому дѣйствующему лицу раздѣлялъ по одной изъ составныхъ частей своего характера ¹⁾, намъ кажется, нѣтъ достаточныхъ основаній. Писатели, пользующіеся подобнаго рода приѣмомъ творчества, создаютъ обыкновенно одинъ только типъ, который варьируютъ на разные лады. Типы Горькаго, вопреки существующему мнѣнію, не повторяются, критика видѣла близкое сходство между Орловымъ и Коноваловымъ. Если всмотрѣться поближе въ эти два образа, то разница между ними окажется больше сходства. Орловъ—натура активная, честолюбивая, онъ хочетъ дѣятельности и притомъ крупной, героической, хочетъ славы; Коноваловъ—поэтъ, ищущій пе-

¹⁾ „Ежегодникъ“ стр. 116.

ремѣны впечатлѣній и свободы. Авторъ совершенно напрасно говоритъ объ узахъ крови, связывавшихъ его съ Стенькой Разинымъ. Эта самая неудачность сближенія, свидѣтельствующая о желаніи истолковать типъ по своему, намъ кажется, говорить за то, что типъ этотъ—результатъ наблюдений автора, а не расчлененіе имъ своего собственнаго „я“; за то же говоритъ живость и полнота образовъ героевъ. Такимъ образомъ, мы думаемъ, что Орловы, Коноваловы и другіе типы, являющіеся результатами наблюденія автора надъ мало извѣстной намъ средой городского пролетаріата, гдѣ въ силу перемѣны социальныхъ условій происходитъ процессъ выдѣленія „безпокойныхъ“, ищущихъ новыхъ устоевъ личностей, процессъ, аналогичный съ тѣмъ, который происходилъ въ началѣ XIX вѣка въ высшихъ классахъ общества. Процессъ этотъ, выдвинувшій и самого Горькаго, занимаетъ его, быть можетъ, болѣе другихъ общественныхъ явленій, этимъ объясняется нѣкоторое пристрастіе нашего писателя къ изображенію созданныхъ этимъ процессомъ типовъ. Но, удѣляя значительную долю своего вниманія „безпокойнымъ людямъ“, Горькій не ограничиваетъ ими рамокъ своего творчества. Взглядъ на Горькаго, какъ на писателя односторонняго, представляетъ собой не что иное, какъ недоразумѣніе, подобное тому, которое испытываетъ путешественникъ, попадая въ незнакомую страну, гдѣ жители кажутся ему удивительно похожими одинъ на другого. Точно также введенный Горькимъ въ міръ босяковъ читатель и критикъ прежде всего замѣчаетъ сходство между отдѣльными типами и только потомъ, осмотрѣвшись и разобравшись, видитъ черты различія. Только этимъ оптическимъ обманомъ можетъ быть объясненъ взглядъ на Горькаго, какъ на исключительно босяцкаго писателя, и мнѣніе о его однообразіи. На дѣлѣ, не говоря уже о тѣхъ произведеніяхъ, гдѣ мы совсѣмъ не встрѣчаемъ босяковъ, даже въ изображеніи босяцкой жизни, Горькій весьма разнообразенъ. Босяки его распадаются на нѣсколько категорій, изъ которыхъ каждая заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ разнообразныхъ индивидуумовъ. Мы видѣли уже, что Коноваловъ принадлежитъ къ категоріи ищущихъ смысла жизни, какъ и ставшій потомъ босякомъ Орловъ,—Это моральная аристократія босяковъ; черты этого типа были по недоразумѣнію обобщены, но

представители его весьма немногочисленны. Болѣе численна категория „бывшихъ людей“, къ числу которыхъ относятся герои разсказа того же имени и Промптовъ изъ „Проходимца“. Бывшіе люди—это спустившіеся до ночлежнаго дома и бродяжничества интеллигенты. Въ ряды босяковъ приводятъ ихъ различныя причины: Промптовъ сталъ бродягой вышвырнутый за бортъ изъ общества за порочность, ротмистръ Аристидъ Кувалда продуктъ дворянскаго оскуднѣнія, прошлое другихъ бывшихъ людей темно. Дворянинъ Промптовъ вполне подходитъ подъ то опредѣленіе, которое даетъ Горькій босякамъ, какъ классу, онъ очень не глупъ, очень прожорливъ, хищенъ и золъ. Разсказывая свою исторію, онъ самъ сознается, что много нагаль „въ фактахъ“, но чувствуется, что такой человѣкъ могъ совершить не только тѣ гадости, которыя онъ самъ себѣ приписалъ, но безконечную массу и другихъ. Въ немъ нѣтъ и намека на ту тоску, которая терзаетъ лучшихъ изъ босяковъ, на искру Божью, на исканіе чего нибудь, напротивъ, онъ чувствуетъ себя хорошо во всякомъ положеніи; онъ сталкивался съ людьми ищущими, его жена даже принадлежала къ числу такихъ, но онъ предпочиталъ всегда обществу такихъ людей общество болѣе веселое. Онъ читалъ и читалъ, повидимому, не безъ толку, понимая прочитанное, но онъ ужасно толстокожъ, и пробратъ его ничѣмъ нельзя. Это умный циникъ, лишенный намека на какія нибудь нравственные устои, но въ то же время чувствуется, что если бы этотъ человѣкъ росъ при другихъ условіяхъ, если бы его не развратила его собственная мать, изъ этого умнаго трезваго человѣка могло бы выйти нѣчто путное. Промптовъ лучше всего отгѣняетъ истинный характеръ „ищущихъ“ героевъ Горькаго. Промптовъ, какъ они, любитъ свободу, ему тоже тѣсно, онъ сильный человѣкъ, но въ то же время это вполне человѣкъ „земли“, тогда какъ у ищущихъ всегда есть порывъ „къ небу“. Въ „Бывшихъ людяхъ“ передъ нами цѣлая серія босяковъ разныхъ типовъ. Первое мѣсто среди нихъ занимаетъ содержатель ночлежки въ бывшей кузницѣ у дома купца Петунникова, отставной ротмистръ Аристидъ Кувалда. Это человѣкъ, который любилъ пожить и, повидимому, этой любовью приведенъ въ положеніе босяка. Онъ сдался не сразу: послѣ того, какъ нельзя стало просто „жить“, онъ устраи-

валъ типографію, контору для найма прислуги, но прогорѣлъ и вынужденъ былъ снять за пять рублей въ мѣсяцъ старую кузницу, которую превратилъ въ ночлежный домъ. Кувалда очень не глупъ и совершенно не золъ, хотя злится на купцовъ и въ теоріи готовъ имъ сдѣлать все, что только можно худшаго. Въ сущности, въ этомъ человѣкѣ „въ обществѣ“ много благородства, безконечно больше, чѣмъ въ купцѣ Петунниковѣ и его сынѣ технологѣ, но тѣмъ не менѣе онъ содержитъ притонъ пьяницъ и воровъ. Это одно изъ тѣхъ противорѣчій нашей жизни, которыя такъ рельефно подчеркиваются въ произведеніяхъ Горькаго, противорѣчій, которыя заставляютъ читателя въ концѣ концовъ спросить себя, „да гдѣ же собственно падшіе и порочные, въ общества или въ обществѣ?“. Ставить этотъ вопросъ входитъ въ задачу автора, и онъ даетъ на него опредѣленный, хотя, быть можетъ, неожиданный, отвѣтъ.

„А что такое падшіе люди? спрашиваетъ онъ. — Прежде всего—люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и тѣ же нервы, какъ и у насъ. Говорятъ намъ объ этомъ цѣлые вѣка изо дня въ день. А мы слушаемъ и... чортъ знаетъ, какъ это все нелѣпо! Или мы уже совершенно оглохли отъ громкой проповѣди гуманизма?.. Въ сущности, сами-то мы тоже падшіе и, пожалуй, очень даже глубоко падшіе... въ пропасть всяческаго самомнѣнія и убѣжденія въ превосходствѣ нашихъ нервовъ и мозговъ надъ нервами и мозгами тѣхъ людей, которые только менѣе хитры, чѣмъ мы, хуже умѣютъ притворяться хорошими, чѣмъ мы умѣемъ“¹⁾.

„Бывшіе люди“ то же, что „падшіе люди“, и къ нимъ безусловно примѣнимы приведенныя нами слова Горькаго — они „прежде всего люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и тѣ же нервы, что и у насъ“. Среди нихъ есть благородное, какъ Кувалда, въ которомъ есть нѣчто рыцарское, и мягкіе, тонко чувствующие и мыслящіе, какъ „Учитель“, и злые, жестокіе какъ Мартьяновъ, и развращенные, какъ дьяконъ Тарасъ, и пошлые, какъ бывший лѣсничій Сивцовъ. Судьба всѣхъ ихъ сдѣлала пьяницами и бродягами, но не лишила ихъ человѣческой души, и въ сущности они остались тѣми же самыми людьми, какими были бы, если бы

¹⁾ Т. I, 264—5.

судьба обошлась съ ними милостивѣе. Въ этотъ смыслъ произведеній Горькаго, каждой строкой онъ говоритъ намъ: „смотрите, это люди, люди такіе же, какъ вы, даже, можетъ быть, лучше васъ, не смотря на рубище и грязь“. Не первый конечно говоритъ намъ это Горькій, но немногіе говорили это съ такой силой какъ онъ, съ такой искренностью, обусловленной тѣмъ, что немногіе писатели могли прійти къ такому выводу не путемъ головной работы, а сердцемъ, живя среди отверженныхъ, ихъ жизнью, какъ жилъ Горькій. Падшихъ людей у Горькаго много, но общая всѣмъ имъ черта, что они такіе, какъ и всѣ остальные, съ такой же душой, умомъ и сердцемъ. Вотъ проститутка Наташа ¹⁾, согревающая холодной осенней ночью своимъ тѣломъ такого же бездомнаго, какъ и она, пришедшаго провести ночь подъ баркой; вотъ проститутка Тереза ²⁾, за недостаткомъ живыхъ друзей, выдумывающая себѣ друга Болеся, которому пишетъ нѣжныя письма и, читая ихъ, живетъ своей мечтой; вотъ воръ Уповающій ³⁾, убивающійся за мужика, у котораго онъ укралъ лошадь, жалость къ мужику, добываетъ вора, у него отъ волненія хлынула кровь горломъ и онъ, не дойдя домой, умираетъ отъ застарѣлой чахотки. Все это сантиментально въ передачѣ, но полно жизни въ повѣствованіи Горькаго, правдивость котораго не позволяетъ сомнѣваться, что могутъ быть такіе воры и проститутки. Вы видите, что эти „павшіе“ ни сколько не хуже другихъ, а какъ будто бы лучше. Конечно, не каждый воръ убивается за обворованнаго, какъ Уповающій, не каждая проститутка, забывъ о себѣ, станетъ согревать своимъ тѣломъ встрѣчнаго, не каждая проститутка пишетъ трогательныя письма Болесю, но много ли среди непавшихъ людей такихъ, какъ эти павшіе? Много ли людей, которые, отобравъ у мужика послѣднюю лошадь, не съ голодухи, какъ сдѣлалъ Уповающій, а просто потому, что имѣютъ возможность сдѣлать это на законномъ основаніи, за долгъ, на примѣръ, стануть убиваться, представлять себѣ горе разореннаго? Да, правъ Горькій, обращаясь къ намъ съ жестокими словами: „въ сущности, сами то мы тоже падшіе и, пожалуй, очень даже глубоко падшіе... въ

¹⁾ „Однажды Осенью“.

²⁾ „Болесь“.

³⁾ „Дружки“.

пропасть всяческаго самомнѣнія и убѣжденія въ превосходствѣ нашихъ нервовъ и мозговъ“. Проповѣдь гуманности конечно, не новое дѣло, но проповѣдывать гуманность такъ, чтобы чувствовалась искренность и страстность проповѣди, умѣютъ немногіе. Тѣмъ болѣе цѣнна такая проповѣдь гуманности, въ наше время, когда гуманность далеко не въ модѣ и когда отношеніе къ человѣку даже среди лучшей части общества отличается книжностью, теоретичностью. Мы много интересовались и говорили послѣднее время о пролетаріѣ, рабочемъ и мужикѣ. Мы дѣлили ихъ другъ отъ друга и отъ насъ перегородками классовыхъ интересовъ и классовой психологіи. Но въ сущности, мы интересовались, не людьми, а извѣстными математическими величинами въ колоссальной формулѣ историческаго процесса, одни изъ нихъ были для насъ величинами отрицательными, другіе положительными, но мы забывали, что всѣ они люди. Горькій, выбравъ изъ нихъ наиболѣе потерявшихъ образъ человѣческій, громко и страстно крикнулъ намъ: „они люди — прежде всего люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и тѣ же нервы, какъ и у насъ!“; мало того, своими „ищущими“ босяками онъ показалъ намъ, что среди этихъ отверженныхъ существуетъ могучее стремленіе къ свѣту, къ идеалу, стремленіе такой силы, которая намъ, съ нашей разсудностью, нервозностью, книжностью, является недоступной. Изъ подонковъ общества, изъ темныхъ подваловъ онъ вывелъ сильныхъ людей, умѣющихъ желать и чувствовать, и показалъ ихъ дряблему интеллигенту. Въ этомъ одна изъ крупныхъ заслугъ его, тѣмъ болѣе крупныхъ, что въ настоящій моментъ всеобщей апатіи особенно нужно и особенно некому сказать бодрое слово, показать какой нибудь просвѣтъ. Горькій не натуралистъ. Рисуя своихъ босяковъ онъ главной цѣлью своей ставитъ не воспроизведеніе и изученіе ихъ быта, почему этотъ бытъ является не то, чтобы идеализированнымъ, но изображеннымъ съ одной только точки зрѣнія, Горькій стремится найти въ людяхъ лучшее, поднять настроеніе читателя. Это—нарушеніе литературныхъ традицій, родоначальникомъ которыхъ былъ Гоголь, но нарушение необходимое и своевременное. На человѣка можно воздѣйствовать различно: иногда ему достаточно дать зеркало, въ которомъ онъ увидитъ свое безобразіе, но иногда,

въ минуты отчаянія, онъ нуждается въ иномъ,—въ укрѣпленіи вѣры въ человѣческое достоинство, въ словахъ ободренія. Теперь именно такая минута, и Горькій одинъ изъ немногихъ понялъ это. Мы говоримъ спокойно „понялъ“, потому что творчество Горькаго не безсознательно, онъ знаетъ, что творить и зачѣмъ творить. Въ разсказѣ „Читатель“, представляющемъ собой образное изложеніе писательскаго *profession de foi* Горькаго, странный собесѣдникъ начинающаго автора, въ которомъ, кажется, нужно видѣть лучшую часть расчленнаго „я“ автора, говоритъ слѣдующее: „Всѣ вы, учителя жизни нашихъ дней, гораздо больше отнимаете у людей, чѣмъ даете имъ, ибо вы только о недостаткахъ говорите, только ихъ видите. Но въ человѣкѣ должны быть и достоинства; вѣдь въ васъ они есть? А вы, чѣмъ вы отличаетесь отъ дюжинныхъ, сѣрыхъ людей, которыхъ изображаете такъ жестоко и придиричиво, считая себя проповѣдниками, обличителями пороковъ ради торжества добродѣтели? Но замѣчаете ли вы, что добродѣтели и пороки вашими усиліями опредѣлить ихъ только спутаны, какъ два клубка нитокъ, черныхъ и бѣлыхъ, которыя отъ близости стали сѣрыми, воспринявъ другъ отъ друга часть первоначальной окраски? И едва ли Богъ послалъ васъ на землю... Онъ выбралъ бы болѣе сильныхъ, чѣмъ вы. Онъ зажегъ бы ихъ сердца огнемъ страстной любви къ жизни, къ истинѣ, къ людямъ, и они пылали бы во мракѣ нашего бытія, какъ свѣтильники Его силы и славы... Вы же чадите, какъ факелы торжества сатаны, и чадъ вашъ, проникая въ умы и души, отравляетъ ихъ ядомъ недовѣрія къ себѣ“ ¹⁾.

Исканіе въ людяхъ лучшаго, пробужденіе въ нихъ любви къ жизни, борьба съ разслабляющимъ недовѣріемъ къ себѣ—вотъ задачи, которыя ставитъ Горькій писателю и преслѣдуетъ самъ. Только съ точки зрѣнія выполненія этихъ задачъ и можно разсматривать изображеніе Горькимъ міра босяковъ, изображеніе правдивое, но далеко отъ того реализма, къ которому приучили насъ писатели предшествовавшаго поколѣнія. Для человѣка прошлаго въ такомъ писателѣ всегда много останется чужого, но человѣкъ нашего поколѣнія, истомленный почти двадцатилѣтними потемками, невидавшій

¹⁾ Томъ III, 249—250.

вокругъ себя ничего, кромѣ пошлости, не можетъ не видѣть въ Горькомъ и его „герояхъ“ босяковъ, а главное въ его настроеніи давно жданной, свѣжей, живящей струи.

Люди Lumpenproletariat'a занимаютъ первое мѣсто въ ряду героевъ Горькаго вѣроятно по двумъ причинамъ: во-первыхъ потому, что онъ самъ жилъ долго въ этой средѣ, и она долго давала ему болѣе всякой другой наблюденія, во-вторыхъ потому, что въ этой средѣ быть можетъ легче, чѣмъ въ какой-либо другой, найти матеріалъ, соотвѣтствующій художественнымъ задачамъ Горькаго. Но, какъ мы уже указывали, этимъ міромъ не ограничиваются рамки творчества нашего писателя. Вопреки установившемуся въ критикѣ мнѣнію, Горькій не пренебрегаетъ и изображеніемъ „мужика“, поскольку послѣдній доступенъ его наблюденію. Наблюденія Горькаго надъ деревней поверхностныѣе, если можно такъ выразиться, болѣе мимоходны, чѣмъ его наблюденія надъ городомъ. Его сфера городъ и путь-дорога, но не деревня. Деревню онъ видѣлъ только по пути и изображаетъ ее и ея жителей только такъ, какъ ихъ можно видѣть по-пути; но тѣмъ не менѣе эти изображенія не лишены интереса. Мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ, что Горькій раздѣляетъ то отношеніе къ мужику, которое недавно царило въ рядахъ группы нашей интеллигенціи, привѣтствовавшей „освобожденіе отъ земли“. Это мнѣніе основывается, исключительно, на изображеніи крестьянина Гаврилы въ рассказѣ „Челкашъ“. Гаврила, полуневольный участникъ грабежа, задуманнаго и ловко выполненнаго Челкашомъ, бродягой и воромъ изъ одесскихъ босяковъ, оказывается жаднымъ и коварнымъ „рабомъ“, въ противоположность сильному духомъ и благородному Челкашу. Но это противопоставленіе не объясняется крестьянствомъ Гаврилы: жаднымъ, какъ онъ, могъ въ равной мѣрѣ оказаться и купецъ, и мѣщанинъ, и фабричный, и босякъ, какъ оказывается жаднымъ босякъ, именующій себя студентомъ и убившій прохожаго въ степи, чтобы воспользоваться его деньгами ¹⁾. Здѣсь противопоставляется не крестьянинъ босяку, а заурядная, подчиняющаяся пошлости жизни и власти денегъ, натура Гаврилы Челкашу, натурѣ сильной, незаурядной и потому

¹⁾ „Въ степи“.

выброшенной за бортъ жизни, которая ему, какъ многимъ изъ героевъ Горькаго, тѣсна. Челкашъ сродни Орловымъ, Коноваловымъ и другимъ; если мы не причислили его къ „ищущимъ“ босякамъ, то только потому, что личность его недостаточно выяснена, точнѣе недостаточно мотивирована. Критика отмѣчала уже, что авторъ скрываетъ отъ насъ, какъ Челкашъ сталъ босякомъ, какъ оторвался онъ отъ деревни, воспоминаніе о которой родитъ въ душѣ его такія хорошія чувства; это большой пробѣлъ, безъ котораго невозможно понять въ достаточной мѣрѣ Челкаша, какъ ни рельефны основныя свойства его натуры, какъ отчетливо ни рисуется намъ его энергичная удалая натура въ эпизодѣ грабежа и послѣ него. Челкашъ самъ сынъ деревни и въ душѣ остается таковымъ, даже превратившись въ босяка; Гаврила тоже сынъ деревни, но его недостатки не есть недостатки только деревни, это вообще недостатки слабыхъ, „рабовъ“ душой. Точно также намъ кажется недостаточно убѣдительнымъ мнѣніе, желающее видѣть доказательства пренебрежительнаго отношенія къ „мужику“ ~~изъ~~ Тяпѣ изъ „Бывшихъ людей“. Тяпа преслѣдовалъ свѣжихъ людей деревни, попадавшихъ въ ночлежку, насмѣшками, натравливалъ на нихъ злыхъ босяковъ и выживалъ ихъ изъ ночлежки; но что руководило имъ при этомъ — неясно, быть можетъ жалость къ этимъ людямъ, которые готовились идти по его дорожкѣ. Дѣло въ томъ, что Тяпа самъ, хотя „бывшій“ мужикъ, но все таки мужикъ и органически чувствуетъ свою связь съ мужикомъ и деревней. Когда учитель приносилъ въ ночлежку газету, разыгрывалась такая сцена:

„Тяпа протягивалъ свою костлявую руку и говорилъ:— Дайка...—На что тебѣ?—Да... можетъ про насъ есть что...— Про кого это?—*Про деревню.*

„Надъ нимъ смѣялись, рассказываетъ Горькій, и бросали ему газету. Онъ бралъ ее и читалъ въ ней о томъ, что въ такой-то деревнѣ градомъ побилло хлѣбъ, а въ другой сгорѣло тридцать дворовъ, а въ третьей баба отравила свою семью—все, *что принято писать о деревнѣ и что рисуетъ ее только несчастной, глухой и злой.* Тяпа читалъ все это глухо и мычалъ, выражая этимъ звукомъ, быть можетъ, состраданіе, быть можетъ удовольствіе“ ¹⁾).

¹⁾ Т. 2, стр. 169.

Врядъ ли можно толковать это мѣсто какъ показатель ненависти Тяпы къ деревнѣ, его удовольствіе скорѣй удовольствіе хорошаго воспоминанія, пробуждаемаго хотя бы и печальными фактами, чѣмъ удовольствіе злорадства. Во всякомъ случаѣ въ этомъ отрывкѣ, какъ и вообще въ произведеніяхъ Горькаго, нельзя найти проявленія сочувствія въ привычкѣ рисовать деревню „какъ принято, только несчастной, глупой и злой“. Ниже мы увидимъ, что Горькій рисуя деревню, остается вѣренъ своему девизу искать въ худшемъ лучшее. Пока остановимся на его прямомъ отзывѣ о мужикѣ, который конечно больше говоритъ объ отношеніяхъ автора къ мужику, чѣмъ отзывы его героевъ. Въ разсказѣ „Кирилка“ компанія, состоявшая изъ земскаго начальника, купца, псаломщика и автора (разсказъ ведется отъ лица автора), собравшаяся на берегу разлившейся рѣки, въ ожиданіи лодокъ, толкуетъ о мужикѣ, т. к. „истинное призваніе каждаго изъ насъ—устанавливать правила поведенія для нашихъ ближнихъ“; авторъ принимаетъ участіе въ разговорѣ, и вотъ, что говоритъ онъ о высказанномъ имъ въ этомъ разговорѣ мнѣніи: „я же утверждалъ, что мужикъ просто голоденъ, и что если бы дать ему волю, хорошей пищи, то онъ бы исправился ¹⁾).

Весь этотъ разговоръ о мужикѣ компаніи, задержанной разливомъ рѣки, представляетъ собой злую пародію на высокомерные толки о мужикѣ, сдѣлавшіеся обычными въ нашемъ обществѣ и даже печати за послѣднее десятилѣтіе.

„Сказано—муж-жики-съ,—любезно улыбаясь прошипѣлъ Мамаевъ (купецъ), —раса дикая... племя тупое, умы осиновые... но вотъ теперь будемъ ожидать отъ усердія земства и распространенія имъ школъ — просвѣщенія и образованности“ ²⁾...

Это конечно не мысли Мамаева, который черезъ нѣсколько секундъ находитъ, что съ просвѣщеніемъ слѣдуетъ подождать. Мамаевъ, ловящій мнѣніе собесѣдника, очевидно ожидалъ, что этими словами онъ угодитъ ему, очевидно на нихъ есть спросъ, но земскій начальникъ оказался человѣкомъ болѣе откровеннымъ.

¹⁾ Т. 3, стр. 265.

²⁾ Т. III, стр. 262.

„Школы... да! говоритъ онъ, читальни, фонари — прекрасно! Я понимаю это... но, однако, хотя я и не противникъ просвѣщенія, какъ вы знаете, а все таки ха-аро-ошая порка воспитываетъ быстрѣе и стоитъ дешевле... да-съ! За розгу мужикъ не платитъ, а на просвѣщеніе съ него шкуру дерутъ хуже, чѣмъ розгой драли. Пока просвѣщеніе только разоряетъ его, вотъ что... Я, однако, не говорю — не просвѣщайте, я говорю—пожалѣйте, подождите... ¹⁾). Для большаго поясненія своей мысли земскій начальникъ устраиваетъ такую сцену:

„Кирилка!—позвалъ земскій, — Вотъ мужикъ,—обратился онъ къ намъ съ нѣкоторой торжественностью на лицѣ и въ тонѣ, — это, рекомендую, недюжинный мужикъ... бестія, какихъ мало! Когда горѣлъ „Григорій“, онъ, этотъ оборванецъ, этотъ... собственноручно спасъ шестерыхъ пассажировъ... поздней осенью, часа четыре кряду, рискуя жизнью, купался въ водѣ, въ бурю, ночью... Спасъ людей и скрылся... его ищутъ, хотятъ благодарить, хотятъ хлопотать о медали., а онъ въ это время воруетъ казенный лѣсъ и схваченъ на мѣстѣ преступленія. Хорошій хозяинъ, скупъ, сноху вогналъ въ гробъ, жена, старуха, бьетъ его полѣномъ... онъ пьяница и очень богомоленъ, поетъ на клиросѣ... имѣетъ хорошій пчельникъ... и при всемъ этомъ — воръ! Паузилась тутъ баржа, и онъ попался въ кражѣ трехъ мѣстъ изюму... изволите видѣть, какая фигура?

„Всѣ мы, продолжаетъ рассказчикъ, внимательно посмотрѣли на талантливаго мужика. Онъ стоялъ передъ нами, спрятавъ свои глаза, и шмыгалъ носомъ, обративъ лицо на щегольскіе сапоги земскаго. Около его губъ играли двѣ морщинки, но губы были плотно сжаты и лицо рѣшительно ничего не выражало.

— И вотъ мы спросимъ его, говоритъ земскій начальникъ,—Кирилка! Скажи—какая польза въ грамотѣ... въ школахъ?

Кирилка вздохнулъ, почмокалъ губами и не сказалъ ничего.

— Ну, вотъ ты грамотный,—строже заговорилъ земскій,—ты долженъ знать — лучше тебѣ жить оттого, что ты грамотный?

¹⁾ Ibidem.

— Всяко бываетъ, — сказалъ Кирилка, наклоняя голову еще ниже.

— Да нѣтъ все таки — ты читаешь, ну, что же, какая польза отъ этого для тебя?

— Пользы, оно, конечно, нѣтъ, чтобы, значить, прямо взять ее... но ежели разсудить, то... учать, стало быть, въ пользу это имъ...

— Кому—имъ?

— Учителямъ, стало быть... земству, значить, и вообще...

— Дуракъ жё ты! Тебѣ-то, тебѣ—есть польза?

— Это какъ угодно, ваше благородіе...

— Кому угодно?

— Вамъ... значить, какъ вы начальникъ...

— Пошелъ прочь!¹⁾

Мужикъ здѣсь въ сущности совсѣмъ не плохъ, въ немъ есть даже извѣстная доля героизма, проявленная при спасеніи пассажировъ. Если онъ воруетъ, то этому, конечно, есть причины внѣ его, если его унижаютъ, то виноваты, конечно, не онъ, а тѣ, кто его унижаетъ, и тѣ условія, которыя позволяютъ его унижать. Трудно представить себѣ положеніе унизительнѣе того, въ которое поставилъ „земскій“ Кирилку, этого безстрашнаго самоотверженнаго человѣка, спасаго шесть жизней, человѣка, какъ самъ земскій признаетъ, неглупаго, грамотнаго, стараго... Чего можно требовать отъ людей, живущихъ въ такихъ условіяхъ, что ихъ можно какъ угодно оскорблять. Такая сцена очень многое объясняетъ въ недостаткахъ мужика, а если прибавить еще высказанное авторомъ мнѣніе, что мужикъ плохъ потому, что голоденъ, то причины недостатковъ мужика окажутся вполне достаточными. Писателя, съ такой ясностью понимающаго мужицкое горе, намъ кажется, нѣтъ возможности на основаніи нѣсколькихъ фразъ, вложенныхъ въ уста героевъ его, признать за человѣка, принадлежащаго къ тому теченію, которое обрушилось на мужика, недавно бывшаго кумиромъ, во имя новыхъ кумировъ. Горькій вообще не человѣкъ, создавшій себѣ кумиры и топчущій въ грязь прежніе кумиры, онъ „ищущій“, сурово относящійся только къ пошлости и пустотѣ.

¹⁾ Т. III, стр. 263—4.

Возвращаясь къ изображенію Горькимъ мужиковъ, мы не можемъ не остановиться на нѣкоторыхъ бывшихъ мужикахъ, не утратившихъ мужицкаго облика. Таковъ дѣдъ Архипъ въ разсказѣ „Дѣдъ архипъ и Ленъка“. Дѣдъ Архипъ, орловскій мужикъ, побирающійся на югѣ Россіи, въ моментъ разсказа на Кубани. Дѣдъ Архипъ продуктъ голодовокъ. Нищета выбросила его за бортъ и заставила побираться. Кромѣ попрошайничества, дѣдъ Архипъ не брезгаетъ и воровствомъ, причѣмъ не прочь украсть у людей, давшихъ ему подаваніе, у ребенка и пр., кажется достаточно отвратительный типъ, но Горькій, вѣрный своему стремленію отыскивать въ худшемъ лучшее, заставляетъ не только пожалѣть бѣднаго Архипа, но и почувствовать къ нему симпатію, смѣшанную съ уваженіемъ. Не для себя воруетъ дѣдъ Архипъ; онъ замыкалъ бы свою жизнь на Кубани одними подаваніями, казаки богаты и щедры, а дѣду Архипу не много нужно, но у него на рукахъ Ленъка, мысль о судьбѣ котораго не покидаетъ старика.

„Глупенькій ты еще, говорить дѣдъ Архипъ Ленъкѣ, не можешь ты еще понимать своей жизни. Сколько тебѣ отъ роду? Одиннадцатый годъ только. И хилый ты, негодный къ работѣ. Куда ты пойдешь? Добрые люди, думаешь помогутъ? Кабы у тебя вотъ деньги были, такъ они бы помогли тебѣ прожить ихъ—это такъ. А милостыню не сладко собирать и мнѣ старику. Каждому поклонись, cadaго попроси. и ругаютъ тебя, и колотятъ часомъ, и гонять... Рази, ты думаешь, человѣкомъ считаютъ нищаго-то? Никто! Десять лѣтъ по міру хожу—знаю. Кусокъ то хлѣба въ тыщу рублей цѣнять. Подасть, да и думаетъ, что ужъ ему сейчасъ же райскія двери отворять. Ты думаешь, подають зачѣмъ больше? Чтобы совѣсть свою успокоить; вотъ зачѣмъ, другъ, а не изъ жалости! Ткнетъ тебѣ кусокъ, ну ему и не стыдно самому то ѣсть. Сытый человѣкъ—звѣрь. И никогда онъ не жалѣеть голоднаго, потому что не знаетъ его. Враги другъ другу—сытый да голодный, вѣки вѣчные они сучкомъ въ глазу другъ у друга будутъ. Потому и невозможно имъ жалѣть и понимать другъ друга... И для сытаго нищій какъ грязь“¹⁾.

Передъ нами разворачивается новый для насъ міръ психологіи голоднаго. Мы его не знаемъ, точнѣе не хотимъ

¹⁾ Т. I, стр. 38.

знать и, оцѣнивая поступки людей съ точки зрѣнія ходячей буржуазной морали, конечно, осудимъ нищаго вора, но осудимъ ли мы дѣда Архипа, вдумавшись въ его своеобразную „теорію“ вражды сытаго съ голоднымъ, познакомившись съ его трогательной заботой избавить внука отъ послѣдствій этой борьбы. Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ, мы съ полнымъ убѣжденіемъ скажемъ, что воръ дѣдъ Архипъ, какъ и воръ Уповающій, въ моральномъ отношеніи по праву заняли бы мѣсто впереди массы „безупречныхъ“ людей общества. Что же эта за сила, которая такъ спутываетъ отношенія людей, ставитъ ихъ въ такія непримиримыя противорѣчія съ собой и другими? Эта сила та же неурядица жизни, которая дѣлаетъ изъ жизни „яму“, отъ которой страдаемъ и сильно подчасъ страдаемъ и мы... Невольно вспоминаются слова другого героя Горькаго, доморощенного бродяги моралиста Коновалова: „Книжки, грамота... А все таки человѣкъ безъ защиты живетъ и никакого призора за нимъ нѣту. Грѣшить ему запрещено, а не грѣшить невозможно“...

Безурядица жизни создаетъ двѣ морали: мораль сытыхъ и голодныхъ, отверженныхъ и торжествующихъ. Каждая изъ этихъ двухъ моралей имѣетъ свои достаточныя основанія, каждая является неизбѣжнымъ продуктомъ существующаго социальнаго строя. При столкновеніи торжествуетъ конечно мораль сытыхъ, и отверженные гибнуть. Такъ гибнуть и наши герои дѣдъ Архипъ и Ленька. Ленька, потрясенный слезами дѣвочки, у которой дѣдъ укралъ платокъ, позоромъ, пережитымъ, когда ихъ съ дѣдомъ уличили въ кражѣ платка и кинжала, называетъ старика воромъ, грозитъ ему наказаніемъ на томъ свѣтѣ, и старикъ не выноситъ этого удара отъ существа, для котораго онъ переносилъ свой позоръ, единственнаго дорогого существа. Старикъ умираетъ отъ удара, а Ленька, испуганный припадкомъ старика, случившимся въ глухой степи ночью во время грозы, послѣ пережитыхъ потрясеній, бѣжитъ безъ оглядки въ степь и тонетъ въ балкѣ, гдѣ скопилась масса дождевой воды. „Сытые“ и послѣ смерти отвергли голодныхъ: старика и Леньку похоронили за станицей, а не на кладбищѣ, такъ какъ они были воры... Да, ужасна жизнь, въ которой такъ много жестокости, хотя, пожалуй, какъ сказалъ король Лиръ: „нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ“, и не мудрено, что мало-мальски чуткимъ натурамъ тѣсно и душно жить, что жизнь для нихъ является „ямой“.

Изъ образовъ крестьянъ въ произведеніяхъ Горькаго, кромѣ Кирилки и не потерявшаго свой крестьянскій обликъ дѣда Архипа, обращаетъ на себя вниманіе симпатичный, тепло написанный образъ Ефимушки въ разсказѣ „Товарищи“. Остальные крестьяне, выводимые Горькимъ, являются въ большинствѣ случаевъ эпизодически въ качествѣ чабановъ, хозяевъ хатъ, въ которыя забредаютъ бродяги герои и т. д. Среди этихъ эпизодическихъ фигуръ большинство малороссы. Въ обрисовкѣ ихъ нѣтъ и признаковъ ни того обычнаго ироническаго отношенія къ „хохлу“, которое такъ часто у великоросса, ни высокомерія къ мужику, которое сказывается хотя бы въ „Мужикахъ“ Чехова. Передъ нами прежде всего люди, быть можетъ нѣсколько наивные, но въ общемъ совѣтъ не дурные, нисколько не хуже тѣхъ, которыхъ мы встрѣчаемъ на каждомъ шагу, и въ то же время это живые люди съ плотью и кровью, которыхъ вы, даже не видавъ никогда подобныхъ, не примите за созданіе одной фантазии. Нѣкоторые изъ этихъ типовъ внушаютъ въ себѣ искреннее уваженіе своей простой жизненной гуманностью, готовностью помочь, выручить: таковъ, напримѣръ, старый чабанъ въ разсказѣ „Мой спутникъ“, образъ котораго написанъ съ чисто Тургеневской мягкостью и жизненностью.

Въ общемъ деревня, насколько ея касается авторъ, не является у него такой, какой, по его собственному выраженію, принято рисовать ее, т. е. дикой и злой; напротивъ, она является человѣчной, съ своеобразной жизненной философией, но иногда слишкомъ глубоко оскорбляемой и голодной.

Если Горькій крестьянству удѣляетъ меньше мѣста, чѣмъ Lumpenproletariat'у, то рабочему онъ удѣляетъ еще меньше мѣста. Если судить о русской дѣйствительности по произведеніямъ Горькаго, то придется сдѣлать весьма прискорбное, но быть можетъ не столь далекое отъ истины, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ, заключеніе, что, если кто оспариваетъ первенство у крестьянина, то не рабочий, а lumpenproletariat'ы. Рабочіе у Горькаго занимаютъ весьма скромное мѣсто; причина этому повидимому та же, которую мы указывали, говоря о мѣстѣ, удѣленномъ Горькимъ деревнѣ,—жизнь мало сталкивала его съ этими людьми, которые переходятъ иногда въ ряды lumpenproletariata, но которые

для послѣдняго аристократія. Представители рабочаго пролетаріата у Горькаго, за исключеніемъ одного помощника машиниста Краснощекова („Оома Гордѣвъ“), — наборщики, съ которыми Горькій сталъ встрѣчаться уже войдя въ міръ газетной работы; (это обстоятельство еще разъ говоритъ противъ субъективности творчества Горькаго, доказывая, что его творчество исходитъ отъ реального наблюденія). Къ сожалѣнію, М. Горькій далъ только одинъ ясно очерченный образъ рабочаго пролетарія въ наборщикѣ Гвоздевѣ¹⁾, да и этотъ образъ яркостью и полнотой много уступаетъ образамъ сапожника Орлова, босяка Коновалова и купца Гордѣева. Наборщикъ Гвоздевъ, герой разсказа „Озорникъ“, принадлежитъ къ числу тѣхъ натуръ, которымъ жизнь тѣсна и которые смутно чего то ищутъ; „исканіе“ впрочемъ у него выражено болѣе смутно, чѣмъ у Коновалова, Орлова и Гордѣева. Если у тѣхъ оно производитъ впечатленіе трагическаго, то у Гвоздева оно выражается въ трагикомической формѣ „озорничества“. Мальчишкой онъ ломалъ замки въ чужихъ голубятняхъ и выпускалъ голубей, позже онъ замуравалъ въ печь своей кумы бутылку съ ртутью и иглками, отчего въ домѣ стали выть „черти“, наконецъ послѣдняя его озорническая выходка, пожалуй самая злая, даетъ поводъ автору познакомить съ Гвоздевымъ читателя. Въ одинъ прекрасный день въ передовой статьѣ одной провинціальной либеральной газеты послѣ словъ: „наша фабричное законодательство всегда служило для прессы предметовъ горячаго обсужденія“ оказались прибавленныя неизвѣстно кѣмъ слова „т. е. говоренія глупой чепухи“, виновникомъ оказался наборщикъ Гвоздевъ, который самъ сознался, что вставилъ эти слова умышленно, понимая, что создастъ этимъ скандалъ. Когда же либеральный редакторъ, пораженный этимъ, проситъ разъяснить, зачѣмъ онъ это здѣлалъ, Гвоздевъ отвѣчаетъ такъ:

„Вы пишете разныя статьи, человѣколюбіе всѣмъ советуе и прочее такое... Не умѣю я сказать все это подробно — грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что рѣчи ведете каждый день... Ну, вотъ, я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата рабочаго толкуете... а я все читаю....

¹⁾ „Озорникъ“.

И противно мнѣ читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова только безстыжія, Митрій Павловичъ!... потому что вы пишете не грабь, а въ типографіи то у васъ что? Кирьяковъ на прошлой недѣлѣ работалъ три съ половиной дня, выработалъ три восемь гривенъ и захворалъ. Жена приходитъ въ контору за деньгами, а управляющій ей говорить, что не ей дать, а съ нея нужно получить рубль двадцать штрафу. Вотъ-те и не грабь! Вы что же про эти порядки не пишете? И какъ управляющій лается и мальчишекъ дуесть за всякую малость?... Вамъ этого нельзя писать, потому что вы и сами то этой-же политики держитесь... Пишите, что людямъ плохо жить на свѣтѣ—и потому вы, я вамъ скажу, все это пишете, что ничего больше дѣлать не умѣете. Вотъ и все... И потому подъ носомъ у себя вы никакихъ звѣрствъ не видите, а про турецкія звѣрства очень хорошо рассказываете. Развѣ это не пустяки—статьи то ваши? Давно уже мнѣ хотѣлось, стыда вашего ради, истинныя слова въ ваши статьи вклеить. И не такъ бы еще надо¹⁾. Такимъ образомъ „озорничество“ Гвоздева оказывается сознательнымъ протестомъ противъ условности убѣжденій редактора, которыя позволяютъ ему, говоря хорошія слова, прекрасно мириться съ скверной дѣйствительностью. Эта „половинчатость“ интеллигента, которую Горькій бичуетъ съ особенной энергіей, дѣйствительно является однимъ изъ неизбежныхъ, но весьма серьезныхъ, золь, въ итогѣ создающихъ изъ жизни яму. Люди рабочаго класса у Горькаго являются врагами этой половинчатости и вытекающаго изъ нея фразерства. Краснощекоевъ, на примѣръ, предпочитаетъ цѣльнаго неумнаго человѣка половинчатому умнику.

„По моему, говорить онъ литератору Ежову, вы напрасно наваливайтесь такъ на глупыхъ-то людей... Мазаньелло дуракъ былъ, но то, что надо, исполнилъ въ лучшемъ видѣ. И какой нибудь Винкельридъ—тоже дуракъ, навѣрно... а однако, кабы онъ не воткнулъ въ себя имперскихъ пикъ, глядишь—швейцарцевъ то и вздули бы. Мало ли такихъ дураковъ,—однако—они герои... А умники то трусы... Гдѣ бы ему ударить изъ всѣхъ силъ по препятствію, онъ соображаетъ: а что отсюда выйдетъ? а какъ бы даромъ не про-

¹⁾ Т. 2, стр. 238—9.

пасть? И стоитъ передъ дѣломъ, какъ колъ... пока не околѣетъ. А дуракъ—онъ храбрый. Прямо лбомъ въ стѣну—хрясь! Разобьетъ башку—ну что жъ? Телячьи головы не дороги... А коли онъ трещину въ стѣнѣ сдѣлаетъ... умники ее въ ворота расковыряютъ, пройдутъ и—честь себѣ припишутъ... Нѣтъ Николай Матвѣичъ, храбрость дѣло хорошее и безъ ума...“¹⁾).

Краснощековъ не заурядный человѣкъ среди своей братіи: хотя онъ началъ учиться грамотѣ въ 15 лѣтъ, но къ 28 прочелъ уйму книгъ, и поэтому нельзя думать, что всякій человѣкъ его класса, по мнѣнію автора, имѣетъ такія мысли и такъ ихъ выражать. Гвоздевъ, напримѣръ, говоритъ совсѣмъ инымъ языкомъ; но цѣльность, сказавшаяся въ этой мысли, присуща всѣмъ героямъ Горькаго изъ рабочаго класса и цѣльность эта сознательно противопоставляется авторомъ половинчатости интеллигента. Фразерство интеллигента отталкиваетъ этихъ людей; Гвоздевъ, чтобы наказать редактора за фразерство, продѣлываетъ свою озорническую выходку, за которую лишается работы, фразистая рѣчь литератора Ежова на пирушкѣ наборщиковъ („Ѳома Гордѣевъ“) сразу отталкиваетъ ихъ отъ этого доброжелательнаго къ нимъ и повидимому симпатичнаго имъ человѣка. Намъ придется еще говорить объ этой противоположности изломаннаго интеллигента и цѣльнаго человѣка — рабочаго пролетарія, босняка, ремесленника, крестьянина, когда мы будемъ говорить объ интеллигенціи въ произведеніяхъ Горькаго; пока же мы вернемся къ Гвоздеву, какъ наиболѣе ясно разработанному Горькимъ типу рабочаго. Гвоздевъ, подобно Коновалову, Орлову и Гордѣеву, томится, онъ чувствуетъ, что жинь его обидѣла, но его томленіе нѣсколько иного порядка, чѣмъ томленіе первыхъ; контрасты жизни сказались для него яснѣе, чѣмъ для тѣхъ. Товарищи Гвоздева, мѣщанскіе мальчики съ Задней Мокрой улицы „вышли люди“: одинъ изъ нихъ, Мишка Сахарница, сталъ судебнымъ слѣдователемъ, у него Гвоздеву пришлось устроить ватер-клозетъ и получить на чай, другой, Васька Жуковъ, врачъ, третій, Митька дьяконицынъ, превратился въ Дмитрія Павловича Истомина, редактора газеты, того самого, въ статью котораго Гвоздевъ вставилъ слова, вызвавшіе изгнаніе его

¹⁾ Т. 4, стр. 346.

изъ типографіи, а самъ онъ, Николка слесаревъ, такъ и остался Николкой Гвоздевымъ; почему? — просто въ силу случайности: у родителей товарищей были средства отдать сыновей въ гимназію, у родителей Николки не было — вотъ и все, а между тѣмъ онъ, Николка, оказался въ жизни „забракованнымъ“. Тѣ условія, въ которыя авторъ ставитъ Гвоздева, конечно исключительныя условія, и самъ Гвоздевъ не можетъ быть разсматриваемъ, какъ типичный рабочій, но разница въ характерѣ недовольства жизни у рабочаго Гвоздева и другихъ „ищущихъ“ героев Горькаго намъ кажется типичной. Рабочій классъ, благодаря многимъ условіямъ, оказывается сознательнымъ болѣе многихъ другихъ, контрасты жизни никого такъ рельефно не задѣваютъ, какъ рабочаго, и ему яснѣе, что именно вышибаетъ его изъ колеи; точно также Гвоздевъ, будучи такъ же обиженъ жизнью, какъ Коноваловъ, Орловъ, Оома Гордѣевъ, яснѣе всѣхъ ихъ понимаетъ, что главнымъ образомъ его обидѣло. Въ немъ нѣтъ той стихійной расплывчатости, тоски, которая отличаетъ его товарищей по несчастью изъ другихъ классовъ, но за то въ немъ гораздо больше узости, онъ видитъ только одну сторону весьма сложнаго процесса, дѣлающаго изъ жизни яму. Если бы ему пришлось дѣйствовать, онъ вѣроятно дѣйствовалъ бы въ духѣ теорій своего гораздо болѣе развитого товарища — Краснощекова, но врядъ ли бы ему, какъ это и предсказывалъ Краснощековъ, удалось приписать себѣ честь.

Рабочій, повторяемъ, мало привлекаетъ вниманіе Горькаго гораздо меньше, чѣмъ было бы желательно въ виду того интереса, который онъ представляетъ собой. Представленный Гвоздевымъ, Краснощековымъ и нѣсколькими наборщиками, собравшимися на пирушкѣ въ „Оомѣ Гордѣевѣ“, рабочій въ изображеніи Горькаго не является полнымъ образомъ, но нѣкоторыя характерныя черты, отличающія рабочаго отъ другихъ классовыхъ типовъ, у Горькаго можно отмѣтить. Рабочій, пожалуй, еще болѣе цѣленъ, чѣмъ босякъ и крѣстьянинъ, но гораздо болѣе прозаиченъ, чѣмъ они. Последнимъ онъ приближается къ интеллигенту, но за то первымъ далѣе отходитъ отъ него, чѣмъ отъ кого бы то не было,

Изображеніе интеллигента у Горькаго особенно цѣнно какъ единственное изображеніе, сдѣланное не „своимъ“ че-

ловѣкомъ; мы остановимся на интеллигентахъ у Горькаго нѣсколько дольше.

Интеллигенты появляются въ произведеніяхъ Горькаго поздно; въ первыхъ томахъ почти нѣтъ интеллигентовъ; только въ „Өомѣ Гордѣевѣ“ и „Мужикѣ“ Горькій серьезно касается жизни интеллигентнаго общества. Его болѣе ранніе экскурсы въ эту область случайны или неудачны. Наиболѣе ранней вещью, въ которой изображаются интеллигенты, является разсказъ „Ошибка“. Сюжетъ этого разсказа донельзя страненъ и неправдоподобенъ; лица, несмотря на трагическое положеніе ихъ, каррикатурны. Очевидно, авторъ подходитъ къ новому для него явленію и если кой что успѣваетъ схватить мѣтко, то въ цѣломъ освоиться съ этимъ явленіемъ и воспроизвести его еще не можетъ. Два земскихъ статистика одновременно сходятъ съ ума, при чемъ одинъ изъ нихъ воображаетъ себя пророкомъ, другой—его ученикомъ. Все это развито неестественно и нехудожественно, но трагизмъ положенія этихъ бѣдныхъ травленныхъ людей изъ „земскихъ статистиковъ“, что почти равнозначуще съ „чужестранцами“, людей, у которыхъ выработанный жизнью страхъ за свою шкуру находится въ такомъ ужасающемъ противорѣчій съ мечтами переустроить міръ, схваченъ чрезвычайно вѣрно. Первымъ помѣшался статистикъ Кравцовъ, помѣшался онъ на желаніи „вывести изъ жизни всѣхъ тѣхъ людей, которые, несмотря на свои пятна, есть все таки самые свѣтлые люди въ жизни“. Охваченный такой мыслью, онъ все боится, что ему не дадутъ совершить подвигъ, во всѣхъ онъ видитъ шпионовъ. Пришедшаго къ нему полусумасшедшаго статистика Ярославцева онъ спрашиваетъ: „Зачѣмъ вы шпионъ? Зачѣмъ вы слѣдите, какъ я думаю! Отъ этого вредно мнѣ и только мнѣ! Думать—это даже благонамѣренно, потому что отъ думъ человѣкъ погибаетъ самъ, и вы не тратите своихъ копѣекъ на то, чтобы погубить его!“¹⁾. Когда же, испуганный его громкими словами, не менѣе его одержимый боязнью шпионовъ, Ярославцевъ говоритъ ему: „Не кричи, услышатъ! Они всегда близко!“ Картавцевъ восклицаетъ:

„Услышатъ?... А ты тоже боишься? Почему же? Вѣдь ты мерзавецъ и тебѣ можно говорить громко, а“?

¹⁾ Т. 1, стр. 167.

Самую свою мечту о спасеніи изъ жизни такихъ людей, которые все таки остаются наиболѣе свѣтлыми, Картавецъ старается облечь въ форму наиболѣе благонамѣренную.

„И вотъ, говорить онъ, ихъ я соберу воедино и выведу вонъ изъ жизни въ пустыню и тамъ устрою имъ будку всеобщаго спасенія. Ты видишь — будка, а не коммуна, не фаланстеръ—это легально, не правда ли?“¹⁾ Кто же эти люди, которыхъ понадобилось выводить изъ жизни въ будку всеобщаго спасенія.

„Ты знаешь, говорить о нихъ ихъ помѣшанный спаситель, людей въ плѣну у жизни? Это тѣ люди, которые хотѣли быть героями, а стали статистиками и учителями. Они нѣкогда боролись съ жизнью, были побѣждены ею и взяты въ плѣнъ ея мелочами... Вотъ о нихъ то говорю я и это ихъ хочу спасти... Ты понялъ? Они погибаютъ, ибо гонимы, ибо всѣ смотрятъ на нихъ, какъ на враговъ, а сами они враги себѣ. Разсѣянные повсюду, они погибаютъ отъ сомнѣній и тоски... и отъ невозможности свободно ходить, говорить и думать“²⁾.

Да, убійственно тяжело положеніе этихъ неудавшихся героевъ, и если болѣзнь двухъ представителей этого несчастнаго разряда людей изображена Горькимъ неправдоподобно, то ихъ душевныя муки подмѣчены вѣрно и правдиво. Жизнь для этихъ людей глубокая мрачная яма, а „будка всеобщаго спасенія“ въ пустынѣ чуть ли не единственный выходъ изъ ямы, какой можно придумать.

Слѣдующій разъ интеллигентъ является у Горькаго на сцену только въ разсказѣ „Озорникъ“, въ лицѣ редактора провинціальной газеты Истомина. Если въ лицѣ Кравцова и Ярославцева представлено мучительное состояніе задыхающейся въ безвременьи интеллигенціи, то Истоминъ представляетъ собой безпомощность, а вмѣстѣ съ тѣмъ полуйскренность интеллигенціи, ея половинчатость.

Истоминъ, редакторъ либеральной газеты, пишетъ о рабочемъ вопросѣ, о турецкихъ звѣрствахъ и мирится съ эксплуатацией рабочихъ въ типографіи той же газеты. Но это полбѣды, хуже то, что Истоминъ, полумертвый, если не совсѣмъ мертвый человѣкъ.

¹⁾ Т. 1, стр. 169.

²⁾ Т. 1, стр. 169.

„Давно уже, говоритъ про него авторъ, всякіе идейные и выпрєнные разговоры по „вопросамъ“ вызывали въ немъ чувство скуки и утомленія“. Гвоздевъ былъ очень близокъ къ истинѣ, сказавъ Истомину, что онъ пишетъ потому только, что ничего больше дѣлать не умѣетъ. Когда тотъ самый Гвоздевъ, который вставилъ въ статью Истомина надѣлавшій столько шуму слова, подошелъ къ нему вечеромъ во время прогулки, открылъ ему свою наболѣвшую душу и сталъ говорить, что долгъ Истомина „человѣка изъ одного съ нимъ гнѣзда“ извлечь его „вверхъ снизу, гдѣ онъ гнѣтъ въ невѣжествѣ и озлобленіи чувствъ“. Истоминъ не нашелъ ни одного теплаго или даже просто дѣльнаго слова и кончилъ тѣмъ, что оскорбилъ человѣка, открывшаго ему душу.

Истоминныхъ къ сожалѣнію много, слишкомъ много среди лучшей части нашей интеллигенціи, гораздо больше, чѣмъ Кравцовыхъ и Ярославцевыхъ, и именно обилію Истоминныхъ обязаны мы тѣмъ, что многое, недавно бывшее заветной истиной, отъ частаго повторенія Истоминными стало звучать фразой. Истомины тѣмъ опаснѣе, что они корректны, ихъ нельзя назвать даже неискренними, они полу-искренни, что гораздо хуже, и страшно холодны. Эту холодность и полу-искренность они вносятъ съ собой и въ жизнь, считаясь носителями свѣта.

Слѣдя далѣе за развитіемъ изображенія типовъ интеллигентовъ въ произведеніяхъ Горькаго, мы должны перейти къ неудачному, несмотря на отдѣльныя поэтическія страницы, разсказу „Варенька Олесова“. Герои этого разсказа къ сожалѣнію представляютъ нѣчто мало правдоподобное. Не говоря уже объ избіеніи купающейся Варенькой приватъ-доцента Полканова, сами эти лица врядъ ли не представляютъ плодъ чистой фантазіи автора, творившей не изъ богатаго запаса наблюденія, какъ она творила образы босяковъ, а „изъ ничего“. Варенька какая то полу-живая психопатка.. Что же такое Полкановъ, такъ и остается, несмотря на продолжительность нашего знакомства съ нимъ, совершенно неяснымъ; какъ будто бы авторъ хочетъ его сдѣлать неглымъ и порядочнымъ человѣкомъ, а между тѣмъ ума онъ не обнаруживаетъ ничѣмъ, а непорядочность проявляетъ, какъ своими мечтами о ночномъ визитѣ Вареньки, обнаруживающими и не важный умъ, такъ и инцидентомъ съ ку-

паньемъ. Въ итогѣ, несмотря на поэтичныя описанія природы, этотъ разсказъ остается lapsus'омъ писателя, и останавливаться на немъ долѣе нѣтъ основанія. Интереснѣе интеллигенты въ разсказѣ „Скуки ради“. Это собственно не интеллигенты, а люди, претендующіе на это званіе, какіе составляютъ огромное большинство въ нашихъ командующихъ классахъ.

Служащіе на мелкой желѣзнодорожной станціи, заброшенные въ глухую степь, лишенные всякихъ культурныхъ интересовъ, они живутъ въ сутки четыре минуты, въ теченіе которыхъ стоятъ на станціи поѣзда, остальное время прозябаютъ. Это въ концѣ концовъ „яма“, нисколько не лучшая той, въ которой живетъ сапожникъ Орловъ. И вотъ, убѣгая отъ гнета этой „ямы“, стараясь хоть чѣмъ-нибудь развлечься, нарушить однообразіе своей жизни, они затѣиваютъ грубую шутку, результатомъ которой было самоубійство оскорбленной этой шуткой въ самыхъ дорогихъ чувствахъ женщины.

Шутку эту они продѣлываютъ не потому, чтобы были злы, напротивъ, они весьма добродушны, но впервыхъ имъ смертельно скучно, во вторыхъ они настолько неразвиты, что не понимаютъ грубости своей продѣлки.

Люди эти интересны тѣмъ, что имя имъ легіонъ, ими кишмя кишить вся Русь, и они являются однимъ изъ вліятельнѣйшихъ элементовъ. Громадное большинство „командующаго класса“ состоитъ изъ подобныхъ людей. Таковъ, напримѣръ, и земскій начальникъ въ разсказѣ „Кирилка“, съ которымъ мы познакомились выше, и въ дополненіе къ характеристикѣ котораго можемъ только прибавить, что онъ отобралъ у Кирилки и съѣлъ послѣднюю краюху хлѣба, такъ какъ выѣхалъ второпяхъ и не успѣлъ позавтракать.

Болѣе сложнымъ существомъ является уже Иванъ Ивановичъ Ивановъ въ разсказѣ „Еще о чортѣ“.

Чортъ подѣ Крещенье, скитаясь по улицамъ и вездѣ видя кресты, попадаетъ наконецъ черезъ неогражденную крестомъ форточку въ квартиру Ивана Ивановича, интеллигентнаго челоѣка, занимающагося самосовершенствованіемъ. Въ моментъ появленія чорта Иванъ Ивановичъ подводилъ итоги проведеннымъ святкамъ и пришелъ къ выводу, что, вопреки

стремленію къ совершенствованію, онъ успѣлъ за послѣднее время всего лишь побывать три раза въ маскарадѣ, въ ресторанѣ и „унизить женщину“, жену своего пріятеля. Все это онъ объясняетъ страстями и восклицаетъ „чортъ! если бѣ я могъ вырвать страсти изъ моего сердца!“ Чортъ, оказавшійся тутъ-какъ-тутъ, предлагаетъ свои услуги. Иванъ Ивановичъ справляется прежде всего, не будетъ ли это больно, потомъ не захочетъ ли чортъ за это его души, и, получивъ успокоительный отвѣтъ, что такая операція болѣзненна только для сильныхъ сердецъ, а у Ивана Ивановича сердце дряблѣе, какъ переросшая редиска, почему боль не будетъ сильнѣе, чѣмъ та, которую испытываетъ курица, какъ у нея изъ хвоста выдергиваютъ перо, душа же Ивана Ивановича чорту ненужна, соглашается на операцію. Чортъ извлекаетъ три страсти: честолюбіе—маленькое, сморщенное какъ пыльная тряпочка, злобу — тоже какъ тряпочка, но съ кисловатымъ запахомъ и нервность—студенистую зеленовато-бурую безформенную массу, убѣждается, что у Ивана Ивановича болѣе ничего не осталось и рѣшаетъ взять его съ собой, чтобы, подсушивъ и набивъ горохомъ, сдѣлать изъ него погремушку для сатаны.

Этотъ рассказъ является единственнымъ, гдѣ Горькій измѣняетъ своей привычкѣ видѣть въ наихудшемъ лучшее. Въ душѣ Ивана Ивановича не нашлось ничего хорошаго, ничего здороваго, его душа студенистая масса нервозности, въ которой копошится крохотное честолюбіе и смѣшанная съ трусостью мелкая злоба.

Что можетъ быть гаже этого человѣка, стремящагося быть совершеннымъ, но цѣной боли, не больше той, которую испытываетъ курица при вырываніи перьевъ изъ хвоста? Въ изображеніи Ивана Ивановича много желчи и злости, естественной, впрочемъ, въ человѣкѣ, вышедшемъ изъ трущобъ жизни къ тому слою, которому больше всего, казалось бы, дано, но который слишкомъ мало дѣлаетъ. Это раздраженіе противъ интеллигенціи, раздраженіе за ея дряблость, мелочность, неискренность, противопоставляемую силѣ духа, цѣльности людей изъ дѣвственныхъ слоевъ нашего общества, представляетъ собой характерную черту Горькаго, проявившуюся уже давно, но вполне сказавшуюся въ „Оомѣ“

Гордѣевъ" и „Мужикъ“. Еще въ одномъ изъ раннихъ своихъ произведеній ¹⁾ Горькій говоритъ:

„Нужно родиться въ культурномъ обществѣ, для того чтобы найти въ себѣ терпѣніе всю жизнь жить среди него и ни разу не пожелать уйти куда нибудь изъ сферы всѣхъ этихъ тяжелыхъ условностей, узаконенныхъ обычаемъ маленькихъ ядовитыхъ лжей, изъ сферы болѣзненныхъ самолюбій, идейнаго сектанства, всяческой неискренности,—однимъ словомъ, изъ всей этой охлаждающей чувство и развращающей умъ суеты суеть“ ²⁾.

Отъ этого взгляда на среду интеллигенціи, какъ на сферу тяжелыхъ условностей, естественный путь къ созданію Ивана Ивановича, съ его студенистымъ сердцемъ, и къ тому бичеванію интеллигенціи, которое мы видимъ въ „Өомѣ Гордѣевѣ“. Отношеніе Горькаго къ интеллигенціи многимъ представляется крайне тенденціознымъ: пока мы не будемъ останавливаться на этомъ мнѣніи, къ которому мы вернемся, когда будемъ говорить о „Мужикѣ“, но какъ бы мы ни оцѣнивали взглядъ Горькаго на интеллигентовъ, мы не можемъ игнорировать того, что писатель, нашедшій лучшія человѣческія черты у воровъ и пропойць, изображая интеллигентовъ, останавливается либо на измученныхъ до сумасшествия Кравцовыхъ и Ярославцевыхъ, либо на мертвыхъ людяхъ, вродѣ Истомина, либо на совершенныхъ Иванахъ Ивановичахъ, годныхъ только сатанѣ на погребушку, что человѣкъ съ такой чуткой душой чувствуетъ непреодолимое стремленіе бѣжать отъ „тяжелыхъ условностей“ и „ядовитыхъ лжей“ въ трущобы, „гдѣ хотя все и грязно, но просто и искренно“. Представляя себѣ интеллигентную среду „сферой ядовитыхъ лжей“, Горькій, совершенно естественно, рисуетъ людей, принадлежащихъ къ этой средѣ либо измученными, либо мертвыми. Такими являются интеллигенты и въ самомъ крупномъ изъ произведеній Горькаго, въ романѣ „Өома Гордѣевъ“. Представителемъ измученныхъ интеллигентовъ въ этомъ романѣ является фельетонистъ Ежовъ. Ежовъ неудачникъ, какихъ много въ наше безвременье. Ежовъ уменъ, быть можетъ талантливъ, у него есть искра въ сердцѣ, есть честолюбіе, но онъ сидитъ на 25 рубляхъ въ мѣсяцъ

¹⁾ „Коноваловъ“.

²⁾ Т. 2, стр. 51.

фельетонистомъ въ провинціальной газетѣ, „паяцомъ на службѣ обществу“, какъ выражается онъ самъ, и пьетъ водку. Его роль не можетъ удовлетворять его, онъ является мученикомъ жизни, неудачникомъ въ точномъ смыслѣ этого слова. Свою неудачливость онъ объясняетъ довольно своеобразно:

„Да, говорить онъ, я думалъ, что вырасту покрупнѣе... И выросъ бы! Я выросъ бы, говорю!...

Но, чтобы сохранить себя цѣльнымъ для жизни и чтобы быть въ ней свободнымъ человѣкомъ, — нужны огромныя силы! Онѣ были... Была у меня гибкость, ловкость... я все это прожилъ лишь для того, чтобы научиться чему то... что теперь совсѣмъ ненужно мнѣ, я истратилъ всего себя для того, чтобы что то сберечь въ себѣ... О, чортъ! Я самъ и многіе со мной... Мы всѣ ограбили себя ради того, чтобы скопить что то для жизни... Подумай, — желая сдѣлать изъ себя человѣка цѣннаго, я всячески обезцѣниваль свою личность... Чтобы учиться и не издохнуть съ голода, я шесть лѣтъ обучалъ грамотѣ какихъ-то болвановъ... и перенесъ массу мерзостей со стороны разныхъ папашъ и мамашъ, безъ всякаго стѣсненія унижавшихъ меня... Зарабатывая на хлѣбъ и чай, я не могъ уже, не имѣлъ времени заработать на сапоги и обращался въ благотворительныя общества съ покорнѣйшими просьбами о ссудахъ... на бѣдность мою.. Еслибы только благотворители могли подсчитать, сколько духа въ человѣкѣ убиваютъ они, поддерживая жизнь тѣла! Если бы они знали, что въ каждомъ рублѣ, который они даютъ на хлѣбъ,—содержится на девяносто девять копѣекъ яда для души! Если бы ихъ разорвало отъ избытка ихъ доброты и гордости, почерпаемой ими изъ своей священной дѣятельности! Нѣтъ на землѣ человѣка гаже и противнѣе подающаго милостыню, какъ нѣтъ человѣка несчастнѣе, принимающаго ее!...

„Отравленный добротою людей, я погибъ отъ роковой способности каждаго бѣдняка, выбившагося въ люди, — отъ способности мириться съ малымъ, въ ожиданіи большаго... О! ты знаешь?—отъ недостатка самооцѣнки гибнетъ больше людей, чѣмъ отъ чахотки, и вотъ почему вожди массъ, быть можетъ, служатъ въ околоточныхъ надзирателяхъ!“ ¹⁾

¹⁾ Т. 4, стр. 275 — 6.

Намъ кажется, что Ежовъ слишкомъ много сваливаетъ на благотворительность, представляющую собой, очевидно, его больное мѣсто. Нѣтъ сомнѣнія, что необходимость для учащейся молодежи обращаться къ общественной благотворительности, необходимость унижительная, какъ и униженія, которыя приходится испытывать отъ „папашъ и мамашъ“, весьма отрицательно вліяютъ на „самоощущенію“ и на развитіе въ юношѣ стойкой самостоятельной личности. Привычка къ униженію родитъ раба, и съ этой точки зрѣнія многое въ нашемъ обществѣ можно объяснить тѣми условіями, въ которыхъ живетъ наша молодежь, но эти условія не все. Ежовъ былъ бы неудачникомъ и безъ нихъ, потому что въ немъ есть темпераментъ, искренность, страстность, а эти качества обрекаютъ на гибель въ нашемъ обществѣ, гдѣ роль лучшихъ людей играютъ мертвецы Истомины, гдѣ даже въ такой сферѣ, какъ печать, Истомины являются стоящими у кормила и задающими тонъ. Ежовъ неудачникъ по своей натурѣ, ему жизнь тѣсна, потому что онъ нуждается въ настоящей жизни, а не въ прозябаніи, въ которое погружено все наше общество и невидавшее лучшей жизни и, утомившись прежней борьбой, почившее на лаврахъ. Въ сонномъ царствѣ нашей дѣйствительности нѣтъ мѣста живымъ людямъ, если они не гиганты и не дерзкіе, смѣло стремящіеся оживить камни, но это то же гиганство своего рода. У Ежова его не было; но тѣмъ не менѣе Ежовъ чувствуетъ глубоко и страстно, страдаетъ мучительно. Оставленный за флагомъ людьми, болѣе ограниченными и мертвыми, Ежовъ понимаетъ, какъ мертвяще ихъ воздѣйствіе на жизнь. Къ самодовольству этихъ людей онъ питаетъ глубокую ненависть.

„Самодовольный человѣкъ — это затвердѣвшая опухоль на груди общества... это мой заклятый врагъ. Онъ набиваетъ себя грошовыми истинами, обгрызанными кусочками затхлой мудрости и существуетъ, какъ чуланъ, въ которомъ скупая хозяйка хранитъ всякій хламъ, совершенно ненужный ей, ни на что негодный... дотронешься до такого человѣка, отворишь дверь въ него, и на тебя пахнетъ вонью разложенія, и въ воздухъ, которымъ ты дышешь, вольется струя какой то затхлой дряни... Эти несчастные люди именуются людьми принциповъ и убѣжденій... и никто не хочетъ замѣтить, что убѣжденія для нихъ—только штаны, которыми они прикрыв-

заютъ нищенскую наготу своихъ душъ. На узкихъ лбахъ такихъ людей всегда сіяетъ надпись: спокойствіе и увѣренность — фальшивая надпись! Потри лбы ихъ твердой рукой, и ты увидишь истинную вывѣску, — на ней изображено: ограниченность и туподушіе!⁴⁾

Ненависть Ежова можетъ показаться болѣзненной, личной ненавистью неудачника. Несомнѣнно, что въ ней есть и личные мотивы, но истинный фонъ ея общественный... Въ наше безвременье ничто не дискредитируетъ такъ лучшихъ завѣтовъ, какъ лжеисповѣданіе ихъ холодными мертвыми людьми, для которыхъ эти не выстраданные, а вычитанные принципы являются только ярлыкомъ, подъ которымъ скрывается пустота или гниль. Въ эпохи подъема такіе люди безвредны; носителей принциповъ много — имъ поклоняется даже толпа; нѣсколько лжепоклонниковъ или плохихъ поклонниковъ не произведутъ ни на кого впечатлѣнія; но въ эпохи упадка, когда каждый носитель принципа долженъ горѣть свѣточемъ, и когда, въ силу многообразныхъ условий, выживаютъ и выдвигаются только уравновѣшенные, тѣ, чье сердце не разрывается на части при видѣ картины безвременья, т. е. холодные или неискренніе, въ такое время эти люди приносятъ носимому ими принципу больше вреда, чѣмъ всѣ открытые враги вмѣстѣ: они подрываютъ то, чѣмъ сильно добро — вѣру въ него и уваженіе къ нему.

Ненависть Ежова къ такимъ людямъ понятна; понятно также, что эта ненависть раздѣляется Горькимъ, точнѣе, что онъ свою ненависть вложилъ въ сердце Ежова. Представьте положеніе человѣка, вышедшаго изъ трущобъ съ страстнымъ исканіемъ свѣта и правды въ то общество, которому наиболѣе дано для отысканія правды и которое грязнѣе въ трусости, неискренности, условности и лжи, не обратится ли со всей силой, свойственной крупной душѣ, ненависть ко злу въ ненависть къ сознательнымъ и безсознательнымъ слугамъ его?

Въ желчныхъ репликахъ Ежова, въ изображеніи Ивана Ивановича, этого самодовольнаго претендента на совершенство, вылился протестъ Горькаго противъ пошлости жизни, выразившейся въ разложеніи передового класса общества.

⁴⁾ Т. 4, 277 — 8.

Интеллигенція должна быть солью земли, этимъ только оправдывается ея исключительное положеніе не только правовое и экономическое, но и культурное. Интеллигенція владѣтъ наибольшимъ доступомъ къ культурной жизни, въ ея рукахъ наука, литература, искусство. Если все это опосредствуется ею, она не только теряетъ право на свое привилегированное положеніе, но и совершаетъ крупное преступленіе противъ общества. Вотъ этимъ положеніемъ вещей объясняется желчность выходокъ Ежова, бросающаго интеллигенціи такой вызовъ:

„Я собралъ бы остатки своей измученной души и вмѣстѣ съ кровью сердца плюнулъ бы въ рожи нашей интеллигенціи, чортъ ее побери! Я бы имъ сказалъ: букашки! вы, лучший сокъ моей страны! Фактъ вашего бытія оплаченъ кровію и слезами десятковъ поколѣній русскихъ людей, о! глады! какъ вы дорого стоите своей странѣ! Что же вы дѣлаете для нея? Превратили ли вы слезы прошлаго въ перлы? Что дали вы жизни? Что сдѣлали? Позволили побѣдить себя? Что дѣлаете? позволяете издѣваться надъ собой?“ ¹⁾

Что могла бы отвѣтить на это „интеллигенція“ въ массѣ? развѣ только-что самъ то ты не много лучше, если лучше... Но Ежовъ знаетъ это, онъ знаетъ, что ему самому грошъ цѣна.

„Гдѣ порохъ юности моей?—говоритъ онъ—разстрѣлялъ я весь зарядъ души по три копейки за выстрѣлъ... Какую вѣру прибрѣлъ я себѣ? Только вѣру въ то, что все въ сей жизни ни къ чорту не годится, все должно быть изломано, разрушено... Что я люблю? Себя... и чувствую предметъ любви моей недостойнымъ любви моей... Что я могу сдѣлать?“ ²⁾

Ежовъ изломанный слабый человѣкъ, жизнь раздавила его, его преимущество въ живости его души. Ежовъ противоположность Истомину, спокойно-холодному, который пишетъ гуманныя статьи, но на котораго идейный разговоръ наводитъ скуку, противоположенъ довольному своей близостью къ совершенству Ивану Ивановичу, противоположенъ „сектантамъ“ мысли, замкнувшимся въ отвлеченную формулу

¹⁾ Т. 4, стр. 350.

²⁾ Ibid. стр. 285.

и съ высоты ея величія смотрящимъ на жизнь безстрастнымъ окомъ... Ежовъ мучится, страдаетъ, чувствуетъ біеніе жизни, жизнь и человѣкъ для него всего дороже, онъ любитъ ихъ больше всего, хотя мучительной изломанной любовью, которую трудно разграничить отъ жалости съ одной стороны и злобы съ другой.

„Первое мое преимущество передъ вами, — говоритъ Ежовъ, обращаясь мысленно въ „интеллигенціи“, есть то, что я не знаю книжной истины, какая для меня была бы дороже человѣка! Человѣкъ есть вселенная, и да здравствуетъ во вѣки онъ, носящій въ себѣ міръ! А вы, скажу я, вы ради слова, въ которомъ можетъ быть и всегда есть содержаніе, понятное вамъ, — вы зачастую ради слова наносите другъ другу язвы и раны, ради слова брызжете другъ на друга желчью, насилуете душу... За это жизнь сурово взыщетъ съ васъ, повѣрьте: разразится буря и она смететъ и смоетъ васъ съ земли, какъ дождь и вѣтеръ пыль съ дерева! На языкѣ людскомъ есть только одно слово, содержаніе коего всѣмъ ясно и дорого, и, когда это слово произносятъ, оно звучитъ такъ: свобода!“ ¹⁾).

Сбудется или нѣтъ пророчество Ежова, для всѣхъ ли одинаково ясно и дорого слово „свобода“, это, конечно, вопросъ, но несомнѣнно, что упреки, брошенные Ежовымъ интеллигенціи, справедливы. Большинство современныхъ интеллигентовъ пріобрѣтаютъ, мы не можемъ рѣшиться сказать вырабатываютъ, свои убѣжденія не путемъ сложной работы при взаимодействіи жизни и книги, какъ бы надо ожидать, а исключительно книжнымъ головнымъ путемъ. Такія убѣжденія прежде всего холодны и прекрасно мирятся съ какой угодно дѣйствительностью, во-вторыхъ, воспринимаясь при помощи словъ, дальше ихъ и не идутъ. Слово, формула являются краугольнымъ камнемъ такихъ убѣждений, цѣнятся выше реального факта, человѣческой жизни. Объективно человѣкъ становится единицей въ формулѣ историческаго процесса, субъективно счетчикомъ, выводящимъ эту формулу. Разница въ формулѣ кладетъ пропасть между двумя выводящими гораздо большую, чѣмъ разница въ ихъ отношеніи къ людямъ, и тѣ, кому по всему бы слѣдовало

¹⁾ Т. 4, стр. 351.

рука объ руку идти впередъ противъ общаго врага тратить, время и силы на споры о формулахъ, и тѣмъ самымъ, выражаясь словами Ежова, „позволяютъ издѣваться надъ собой“. Ежовъ становится выше сектантства, но, чтобы устоять на этой высотѣ, надо имѣть натуру сильную и цѣльную, надо сложить Ежова и Гордѣева, другими словами, надо быть Горькимъ. Прямой противоположностью Ежову является другой интеллигентъ, уравновѣшенный Тарасъ Маякинъ.

На первый взглядъ кажется лишнимъ дѣлать этого культурнаго кулака бывшимъ ссыльнымъ, но въ этомъ есть актъ сознательности. Выводя Тараса Маякина, авторъ выражаетъ свое отрицательное отношеніе не только къ тому поколѣнію интеллигенціи, которое „позволяетъ издѣваться надъ собой“, но и къ тому, которое „позволило побѣдить себя“. Оцѣнивать этотъ взглядъ автора по многимъ причинамъ трудно. Мы ограничимся только указаніемъ, что типы, подобные Тарасу Маякину, быть можетъ какъ исключеніе, но все же существуютъ. Если нѣтъ ничего невѣроятнаго въ предположеніи Ежова, что вожди массъ служатъ теперь въ околоточныхъ надзирателяхъ, то, увы! несомнѣненъ фактъ, что нѣкоторые изъ бывшихъ кандидатовъ въ „водители массъ“ оказались служащими на золотыхъ пріискахъ или въ винной монополіи. Русская земля полна, не скажемъ ренегатами это слово слишкомъ громко, а просто „бывшими людьми“, когда-то кипѣвшими, потомъ остывшими и очень остывшими... до полнаго забвенія завѣтовъ прошлаго, отъ котораго осталось развѣ нѣсколько громкихъ фразъ, да ореолъ въ глазахъ наивныхъ людей, имя же имъ легіонъ. Изъ „бывшихъ людей“ этого типа Тарасъ Маякинъ, если не лучше, то безвреднѣе многихъ, благодаря своей откровенности. Онъ отрѣшился отъ своего знамени и бросилъ его, а не волочетъ за собой по грязи, какъ дѣлаютъ другіе „бывшіе люди“. Это честнѣе, потому что никого не обманываетъ. Во всякомъ случаѣ, Тарасы Маякины существуютъ на Руси и нечего закрывать глаза на это явленіе. То, что такая холодная натура, какъ Тарасъ Маякинъ, была захвачена движеніемъ, показываетъ только интенсивность движенія. Но увлеченіе Тараса, очевидно, было неглубокимъ, иначе было бы невозможно то полное превращеніе, которое постигло Тараса. Такимъ же является увлеченіе хорошими книжками и идеями сестры

Тараса, Любви Маякиной. Любовь много читаетъ, мучается надъ общественными вопросами, тяготится атмосферой жизни старика Маякина, но все это не выходитъ за предѣлы стремлений и желаній, которыя постепенно умираютъ естественной смертью. Въ концѣ-концовъ передовая Любовь спокойно выходитъ замужъ за культурнаго кулака Смолина, вполне удовлетворившись тѣмъ, что онъ читаетъ книжки и любитъ театръ. Развитая, образованная, повидимому честная, Любовь Маякина легко мирится съ тѣмъ, съ чѣмъ не можетъ примириться полудикарь Ома Гордѣевъ, въ цѣльную душу котораго запало исканіе правды. Пренія теченія общественной мысли могли все-таки оторвать отъ среды временно Тараса, толкнуть его въ русло, совершенно противоположное тому, въ которое направляла среда; новыя оказались безсильны сдѣлать то же съ Любовью Маякиной, которая такъ и осталась только читательницей хорошихъ книгъ. Это своего рода показатель темпа общественной жизни, который во время юности Тараса былъ гораздо сильнѣе, чѣмъ во время юности Любы. Мы не рѣшились бы сказать, что новыя теченія лишены энтузіазма, но степень и качество новаго и стараго энтузіазма различны, не въ пользу новаго. Новый энтузіазмъ чисто головной, неактивный, энтузіазмъ передъ теоріей, старый энтузіазмъ жизненной борьбы захватывалъ, хотя не всегда глубоко, все существо.

На ряду съ „интеллигентами“ въ „Омѣ Гордѣевѣ“ введенъ цѣлый рядъ представителей того класса, который постепенно становится интеллигентнымъ и давно уже сталъ командующимъ, но который рѣзко и существенно отличается отъ амальгамы съ дворянской основой, составляющей ту общественную группу, которая называется иностраннымъ, но ни въ какомъ, кажется, кромѣ русскаго, языкѣ несуществующимъ, словомъ „интеллигенція“. Классъ этотъ — купеческій. Онъ пріобрѣтаетъ все большее и большее значеніе, становясь истиннымъ хозяиномъ жизни, и, если можно считать представителя его въ романѣ Горькаго, Маякина-отца, за выразителя вождѣній этого класса, то стремится даже къ политической роли. Мы колеблемся, насколько возможны такія стремленія у старозавѣтнаго купца, какимъ является Маякинъ, тѣмъ болѣе, что въ рѣчахъ Маякина мелькаютъ тѣ же мысли, которыя высказывалъ, громя купцовъ, Ари-

стыдъ Кувалда, но, если даже отбросить мечты Маякина о политической роли, нельзя отрицать огромнаго вліянія людей этого типа на современную жизнь. Купецъ старозавѣтный, какъ Яковъ Маякинъ, или новой формаци, какъ раскаявшійся Тарасъ Маякинъ или европеизированный Смолинъ, представляетъ собой все большую и большую общественную силу, передъ которой совершенно стушовывается разрозненная, изломанная, полумертвая интеллигенція. Что же это за сила, откуда она идетъ? На этихъ вопросахъ не могъ не остановиться писатель, изображающій неурядицу жизни, въ которой купеческое вліяніе играетъ не послѣднюю роль. Босякъ — созданіе главнымъ образомъ купеческаго дѣланья жизни, и ненависть къ купцу ясно сказывается въ босякахъ изъ „бывшихъ людей“, т. е. болѣе способныхъ осмыслить причину своего несчастья. Умный и энергичный Аристидъ Кувалда приходитъ въ неистовство, когда заговариваетъ о купцѣ, его отношеніе раздѣляетъ и вся его ночлежка, разница обусловливалась только развитіемъ и темпераментомъ. Но важнѣе и трагичнѣе протестъ противъ купеческаго господства чуткаго человѣка изъ этой самой купеческой среды, Оомы Гордѣева. Тоска Оомы является доказательствомъ того, что, какъ говоритъ Ежовъ: „Святой духъ недовольства жизнью проникъ уже и въ купеческія спальни... въ мертвецкія душъ, утопленныхъ въ жирныхъ щахъ, въ озерахъ чая и прочихъ жидкостяхъ“. Откуда же проистекаетъ недовольство Оомы? Самъ онъ, подвыпивши, такъ формулируетъ свою философію жизни:

„— Я такъ понимаю: одни люди—черви, другіе—воробыи... Воробыи — это купцы... Они клюютъ червей: Такъ ужъ положено... Они нужны... А я... и всѣ вы — ни къ чему... Мы живемъ безъ сравненія и безъ оправданія... совсѣмъ зря... И совсѣмъ не нужно насъ... Но и тѣ... и всѣ — для чего? Это надо понять...“¹⁾.

Оома понимаетъ, что „воробыи“ въ окружающей его жизни гораздо болѣе на мѣстѣ, чѣмъ онъ, но и купцы въ концѣ-концовъ не кажутся ему нужными: „но и тѣ... и всѣ для чего“?.. Жизнь является для него огромной бессмыслицей, въ которой ему необходимо разобраться, но разобраться

¹⁾ Т. 4, стр. 268.

онъ не въ силахъ и только сокрушаетъ все кругомъ своей стихійной неуклюжестью, пока и самъ не гибнетъ, какъ та сова, испуганная имъ въ дѣтствѣ днемъ и избившая себя, ничего не видя, о деревья.

„Молчать! Слово сырю! Слово сырю! Дайте слово слонамъ и мамонтамъ нестройства жизни! Говорить святыя рѣчи сырая русская совѣсть! Рычи, Гордѣвъ! Рычи на все!“ такъ кричалъ пьяный Ежовъ, слушая покаяніе пьянаго Оомы, но въ словахъ этого пьянаго человѣка много правды. Что такое Оома Гордѣвъ, какъ не „сырая русская совѣсть“? Совѣсть, проснувшаяся со всей силой нетронутой натуры, но темная, слѣпая, незнающая куда идти, и топящая себя въ винѣ и разгулѣ. Оома—это символъ русскаго человѣка—съ его богатой натурой, его стремленіе къ абсолютамъ и его глубокимъ мракомъ невѣжества. Оома гибнетъ, и его гибель предостереженіе большому русскому Оомѣ, который спитъ еще, но повидимому начинаетъ просыпаться, такъ по крайней мѣрѣ заставляютъ думать всѣ эти Коноваловы, Орловы, Гордѣвы, съ ихъ „байроновской“ душой. Оома, дѣйствительно, „слонъ и мамонтъ нестройства жизни“, дикарь, вооруженный миллионами—могуществомъ, но и бичомъ европейца. Оома не можетъ быть воробьемъ и клевать червей, ему это противно, скучно, онъ не видитъ въ этомъ никакого смысла, а ему нуженъ смыслъ. „Понять!“ вотъ его лозунгъ, съ этимъ лозунгомъ онъ носится всю жизнь и ничего не можетъ понять; мало того, онъ видитъ, что и никто ничего не понимаетъ, ни „ученый“ Ежовъ, ни читающая книжки Люба, ни практически умный Яковъ Маякинъ и его сынъ Тарась, съ той разницей, что Ежовъ и Люба еще страдаютъ отъ этого, а отецъ и сынъ Маякины не задумываются болѣе надъ такими вопросами, выработавъ себѣ философію, вполне приноровленную къ роли воробьевъ, клюющихъ червей. Оома начинаетъ презирать и ненавидѣть этихъ людей, проводившихъ свою жизнь въ клеваніи другихъ, презирать потому, что знаетъ всю ихъ гнусность, ненавидѣть потому, что чувствуетъ, что въ нихъ главная причина нестройства жизни.

Когда Оома, ѣдучи на освященіе парохода купца Коконова окинулъ взглядомъ окружавшее его общество, онъ увидѣлъ картину, отъ которой у всякаго, понявшаго ее, мурашки по тѣлу пробѣжали бы.

„Вотъ, Лупъ Рѣзниковъ, — онъ началъ свою карьеру содержателемъ публичнаго дома и разбогатѣлъ какъ-то сразу. Говорятъ, онъ удушилъ одного изъ своихъ гостей, богатаго сибиряка... Зубовъ въ молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился... Кононовъ лѣтъ двадцать назадъ судился за поджогъ, а теперь состоитъ подъ слѣдствіемъ за растлѣніе малолѣтней. Вмѣстѣ съ нимъ — второй уже разъ, по такому же обвиненію — привлеченъ къ дѣлу и Захаръ Кирилловъ Робустовъ, — толстый и низенькій купецъ съ круглымъ лицомъ и веселыми голубыми глазами... Среди этихъ людей нѣтъ почти ни одного, о которомъ Оомѣ не было бы извѣстно чего-нибудь позорнаго“ ¹⁾.

И вотъ выступаетъ изъ этой толпы Яковъ Маякинъ, эта хитрая лиса, очень напоминающая своимъ нравственнымъ обликомъ боярина временъ безвременья, вродѣ Василя Шуйскаго, и произноситъ рѣчь, полную восхваленія купечества:

„Видя въ васъ первыхъ людей жизни, — заканчиваетъ онъ рѣчь, — самыхъ трудящихся и любящихъ труды свои, видя въ васъ людей, которые все сдѣлали и все могутъ сдѣлать, — вотъ я всѣмъ сердцемъ моимъ, съ уваженіемъ и любовью къ вамъ поднимаю этотъ свой полный бокалъ — за славное, крѣпкое духомъ, рабочее русское купечество... Многая вамъ лѣта! Здравствуйте во славу матери Россіи! Ура!“

Сырая совѣсть Оомы не выдерживаетъ, онъ протестуетъ въ дикой, грубой формѣ, осыпая торжествующихъ купцовъ площадными ругательствами, среди которыхъ прорываются слова правды и страданія:

„— О, с-сволочи! — кричитъ Оома. — Что вы сдѣлали? Не жизнь вы сдѣлали — тюрьму... Не порядокъ устроили — цѣпи на человѣка выковали... Душно, тѣсно, повернуться негдѣ живой душѣ... Погибаетъ человѣкъ!.. Душегубы вы... Понимаете ли, что только терпѣніемъ человѣческимъ вы живы“ ²⁾.

Оома погибъ и погибъ безцѣльно. У него было то, чего недоставало Ежову, Кравцову и другимъ интеллигентамъ, была здоровая могучая, цѣльная натура, сила чувства и воли, но онъ былъ темный человѣкъ, онъ чувствовалъ нутромъ

¹⁾ Т. 4, стр. 357.

²⁾ Т. 4, стр. 365.

мерзость жизни „въ ямѣ“, но не могъ найти какого бы то ни было, хотя бы тернистаго и опаснаго, пути къ выходу изъ ямы. Насколько трудно найѣти такой путь, покажетъ слѣдующее по времени за „Оомой Гордѣевымъ“ крупное произведеніе Горькаго „Мужикъ“. „Мужикъ“ попытка создать положительный типъ русскаго интеллигента, попытка, какъ извѣстно, бывшая роковой для самыхъ крупныхъ художниковъ, начиная съ Гоголя. Не увѣнчалась она успѣхомъ и у Горькаго. Очевидно, положительный типъ русскаго интеллигента все еще остается чѣмъ-то вродѣ *perpetuum mobile*, попытки создать которое заранѣе обречены на безуспѣшность...

Повѣсть „Мужикъ“ даетъ цѣлую галлерею типовъ русской интеллигенціи, въ центрѣ которой находится долженствовавшая быть могучей, но совершенно неудавшаяся фигура архитектора Шебуева.

Интеллигенты въ „Мужикѣ“, кромѣ самого мужика Шебуева, все люди развинченные, слабые, томящіеся, за исключеніемъ развѣ доктора Кропотова, человѣка застыившаго въ рамкахъ прогрессивныхъ убѣжденій, отъ которыхъ, въ сущности, у него осталась одна шелуха. Эта галлерея типовъ была бы очень интересна, если бы была законченна, но, къ сожалѣнію, въ этомъ произведеніи художественность нѣсколько измѣнила автору, поставившему себѣ слишкомъ трудныя идейныя задачи, и всѣ типы остаются блѣдными, хотя, несмотря на незаконченность повѣсти, мы видимъ достаточно времени, чтобы при обычной яркости письма Горькаго, получить о нихъ достаточное представленіе. Болѣе всего этотъ недостатокъ сказался въ главной фигурѣ повѣсти — мужикѣ архитекторѣ Шебуевѣ. Шебуевъ — таинственная личность, появленіе которой производитъ цѣлую сенсацию среди интеллигенціи городка, въ который онъ пріѣзжаетъ. Долго никто совершенно не можетъ понять, что онъ изъ себя представляетъ, пока онъ не высказывается самъ. Въ собственной своей аттестаціи Шебуевъ является человѣкомъ, пришедшимъ „снизу, со дна жизни, оттуда, гдѣ грязь и тьма, гдѣ человѣкъ еще полузвѣрь, гдѣ вся жизнь только трудъ ради хлѣба“, и въ качествѣ такового Шебуевъ говоритъ про себя: „я правдивый голосъ жизни, грубый крикъ тѣхъ, которые остались тамъ, внизу, отпустивъ меня къ вамъ для

свидѣтельства о страданіяхъ ихъ! Они также хотятъ на-
верхъ — къ самосознанію, къ свѣту, къ свободѣ“ ¹⁾).

Эти слова очень искренно звучали бы въ устахъ самого
автора, но производятъ самое ложное впечатлѣніе въ устахъ
его жоховатаго героя, который великихъ дѣлъ не дѣлаетъ,
но весьма ловко подбирается къ хорошему имѣннику и че-
тырехмилліонной невѣстѣ. Правда, это все онъ дѣлаетъ съ
благой цѣлью, какой, впрочемъ, неясно, но извѣстна судьба
такого рода начинаній: человѣкъ начинаетъ жульничать
„съ благой цѣлью“ и, незамѣтно входя въ роль, становится
чистокровнѣйшимъ ташкентцемъ. Авторъ вложилъ въ уста
Шебуеву много своихъ прекрасныхъ мыслей, но отъ этого
герой не сталъ лучше, какъ вѣшалка не становится лучше
оттого, что на ней висятъ красивые наряды. Все, что дѣ-
лаетъ Шебуевъ, такъ старо и не оригинально, что надо
удивляться, какъ авторъ приставилъ къ такому дѣлу героя,
долженствовавшего изобразить „новаго человѣка“. Народ-
ный домъ съ духовнымъ хоромъ, спектаклями и т. д., это
нѣчто такое, что нынче даже исправники устраиваютъ, а
для устройства этого дома Шебуевъ лебезитъ передъ кула-
комъ купцомъ, какъ самый заурядный благотворитель. Та-
кіе же дома отлично устраиваютъ представители старой ин-
теллигенціи, не переставая быть дряблыми, и отлично пони-
мая, что всѣ эти хоры и оркестры не дѣло, а такъ себѣ,
суррогатъ дѣла. Не ново конечно желаніе выгодно купить
имѣннице и жениться на милліонершѣ, на все это большіе
мастера наши интеллигенты, не изъ лучшихъ конечно...
Шебуевъ со всѣми своими громкими словами, остается ста-
рымъ очень старымъ лицомъ, онъ совсѣмъ не „мужикъ“, а
буржуа самой чистой воды. Совершенно напрасно онъ счи-
таетъ себя представителемъ новой мужицкой интеллигенціи,
которая должна оказаться сильнѣе прежней дворянской и
разночинской. Тысячи людей и до него выходили изъ низ-
шихъ классовъ и растворялись въ той амальгамѣ, которую
называютъ интеллигенціей; нѣтъ никакихъ основаній счи-
тать Шебуева исключеніемъ. Авторъ очевидно самъ понялъ
несостоятельность своего героя и оборвавъ свой рассказъ,
не давъ намъ возможности полюбоваться „правдивымъ го-

¹⁾ „Жизнь“, 1900, т. III, стр. 150.

лосомъ жизни“ въ роли искателя четырехмилліонной невѣсты. Попытка создать положительный типъ интеллигента кончилась полнымъ фіаско. Но тѣмъ не менѣе она остается весьма любопытной. Прежде всего она показываетъ, что въ изображеніи отрицательныхъ типовъ интеллигенціи Горькій не тенденціозенъ. Онъ остается вѣрнымъ и здѣсь своему исканію лучшаго, до того, что не находя того, что онъ считаетъ положительнымъ въ дѣйствительности, онъ сочиняетъ неудавшагося положительнаго героя. Съ другой стороны, эта неудача является оправданіемъ интеллигенціи. Если нельзя даже придумать героя маломальски правдоподобнаго, который, при условіяхъ нашей жизни, пошелъ бы дальше народныхъ домовъ съ духовными хорами, воздвигаемыхъ на средства Титъ Титычей, то можно ли удивляться, что лучшіе изъ интеллигентовъ, наиболѣе чуткіе, отзывчивые до помѣшательствъ на „будкѣ общественнаго спасенія“ или убиваютъ свои силы въ желчныхъ выходкахъ а ла Ежовъ. Жизнь слишкомъ тѣсна, жизнь слишкомъ яма, чтобы чего нибудь требовать отъ людей, вотъ конечный выводъ, который приходится сдѣлать читателю, познакомившись съ картинами русской современности, нарисованными однимъ изъ даровитѣйшихъ современныхъ русскихъ писателей.

Для самыхъ разнообразныхъ слоевъ русскаго общества жизнь яма, таковъ ужасный, но правдивый приговоръ Горькаго нашей современности, но въ этой ямѣ не все спокойно. Въ этой ямѣ страдаютъ, томятся, рвутся къ свѣту, такіе разнообразные люди, какъ сапожникъ Орловъ, босякъ Коноваловъ, литераторъ Ежовъ, статистикъ Кравцовъ, милліонеръ Оома Гордѣевъ. Всѣхъ ихъ слишкомъ угнетаетъ мракъ и смрадъ ямы; они мечутся и гибнутъ, но не могутъ сдѣлать ни одного шага къ выходу изъ ямы, одни, потому что слѣпы, другіе, потому что слабы, измучены, потеряли вѣру, потеряли волю. Первые — люди изъ нетронутыхъ культурой слоевъ, вторые — интеллигенты. Если автора привлекаетъ сила первыхъ, то онъ все же не могъ рѣшиться вывести одного изъ нихъ въ роли „дѣлателя жизни“, а возложилъ эту роль на интеллигента изъ мужиковъ. Въ концѣ концовъ и тѣ и другіе равно безпомощны, одни отъ недостатка развитаго интеллекта, другіе отъ недо-

статка воли и здоровья. Болѣзнью интеллигенціи авторъ считаетъ „гипертрофію интеллекта“ (по крайней мѣрѣ такую мысль высказываетъ нагруженный авторскими мыслями Шебueвъ). Намъ кажется эта мысль абсолютно ложной. Гдѣ эти гипертрофированные интеллекты среди нашей интеллигенціи? развѣ наиболѣе гипертрофированный интеллектъ современнаго русскаго человѣка можетъ идти въ сравненіе съ тѣмъ колоссальнымъ развитіемъ интеллекта, которое наблюдается у людей, оставившихъ по себѣ слѣды въ исторіи человѣчества на западѣ да и у насъ въ болѣе счастливое время? Нѣтъ, не гипертрофія интеллекта наша бѣда, нашъ интеллектъ не только не гипертрофированъ, онъ недоразвитъ! Наша бѣда атрофія воли и чувства. Причины этого явленія понятны: воля ослаблена вынужденнымъ постояннымъ бездѣйствіемъ, пессимизмомъ порождаемымъ непроязвительной дѣйствительностью, неудачами прежнихъ поколѣній, чувство подавлено однообразіемъ тяжелыхъ впечатлѣній, вѣчной тоской и страхомъ, страхомъ раба, боящагося проявить свое негодованіе... Не малую роль сыграло и наше воспитаніе до схоластическаго духа, проникшаго въ наши университеты включительно. Мы слабы и дряблы какъ зимнія растенія, выросшія безъ воздуха и свѣта въ темномъ, сыромъ, тепловатомъ подвалѣ. Мы тянемся къ свѣту, но у насъ нѣтъ силы пробиться сквозь стѣну, которая быть можетъ не такъ непроницаема, какъ намъ кажется. Мы трусы въ концѣ концовъ, но трусы потому, что намъ не на чемъ было воспитать смѣлость. Мы столпились въ ямѣ, толчемся и гибнемъ, и не дѣлаемъ ни одного серьезнаго усилія вырваться изъ нея, не дѣлаемъ, боясь чего то, хотя въ сущности намъ уже нечего бояться, потому что нечего терять.

Горькій великолѣпно изобразилъ намъ это состояніе въ прелестной поэтической легендѣ о горящемъ сердцѣ Данко. Загнанные врагами въ густые лѣса и болота люди потеряли бодрость. Они гибли одинъ за другимъ отъ смрадныхъ испареній болотъ, но не рѣшались идти ни впередъ, черезъ непроходимый мрачный лѣсъ ни назадъ, гдѣ ждали ихъ могучіе враги.

„Страхъ родился среди нихъ и сковалъ имъ крѣпкія руки, ужасъ родили женщины своимъ плачемъ надъ трупами умершихъ отъ смрада и надъ судьбой скованныхъ

страхомъ живыхъ, — и трусливыя слова стали слышны въ лѣсу, сначала робкія и тихія, а потомъ все громче и громче. Уже хотѣли идти къ врагу и принести въ даръ себя и волю свою, и никто ужъ испуганный смертію не боялся рабской жизни“.

Но этотъ легендарный народъ оказался счастливей насъ. Явился Данко и увлекъ за собой павшихъ духомъ людей впередъ, черезъ дремучій лѣсъ. Труденъ былъ путь, люди опять пали духомъ и съ проклятіями бросились на Данко угрожая ему смертію.

„И вотъ его сердце вспыхнуло яркимъ огнемъ желанія спасти ихъ и вывести на легкій путь, и тогда въ его очахъ засверкали лучи того могучаго огня“...

„И вдругъ онъ разорвалъ руками себѣ грудь и вырвалъ изъ нея свое сердце и высоко поднялъ его надъ головой“.

„Оно же пылало такъ ярко, какъ солнце, и ярче солнца, и весь лѣсъ замолчалъ, освѣщенный этимъ факеломъ великой любви къ людямъ, а тѣма разлетѣлась отъ свѣта его и тамъ, глубоко въ лѣсу, дрожащая, пала въ гнилой зѣвъ болота. Люди же, изумленные, стали какъ камни.“

— „Идемъ, крикнулъ Данко, и бросился впередъ на свое мѣсто, высоко держа горящее сердце и освѣщая имъ путь людямъ“.

„Они бросились за нимъ, любопытные и очарованные. Тогда лѣсъ снова зашумѣлъ, удивленно качая вершинами, но его шумъ былъ заглушенъ топаньемъ бѣгущихъ людей. Всѣ бѣжали быстро и смѣло, увлекаемые чудеснымъ зрѣлищемъ горящаго сердца. И теперь гибли, но гибли безъ жалобъ и слезъ. А Данко все былъ впереди, и сердце его все пылало и пылало.“

„И вотъ вдругъ лѣсъ разступился передъ нимъ, и всѣ тѣ люди сразу окунулись въ цѣлое море солнечнаго свѣта и чистаго воздуха, промываго дождемъ. Гроза была тамъ, сзади ихъ надъ лѣсомъ, а тутъ сіяло солнце, вздыхала степь, блестѣла трава въ брильянтахъ дождя, и золотомъ сверкала рѣка. Былъ вечеръ, и отъ лучей заката рѣка казалась красной, какъ та кровь, что била горячей струей изъ разорванной груди Данко.“

„Кинулъ взоръ впередъ себя на ширь степи гордый умирающій смѣльчакъ Данко, — кинулъ онъ радостный

взоръ на развернувшуюся передъ нимъ свободную землю и засмѣялся гордо. А потомъ упалъ и умеръ.

„Тихо шептали удивленные деревья, оставшіяся позади, и трава, смоченная кровью Данко, вторила имъ“.

„Люди же, радостные и полные надеждъ, не замѣтили смерти его и не видѣли, что еще пылаетъ рядомъ съ трупомъ Данко его смѣлое сердце. Только одинъ осторожный человѣкъ замѣтилъ это и, боясь чего то, наступилъ на гордое сердце ногой... И вотъ оно рассыпавшись въ искры угасло“ ¹⁾.

Мракъ, который окружаетъ насъ, слишкомъ густъ, чтобы его разсѣяло одно горящее сердце, и путь, который намъ предстоитъ пройти черезъ дремучій лѣсъ безвременья такъ далекъ, что во время его сгорить до конца не одно пламенное сердце, но сердце, горящее факеломъ любви къ людямъ — вотъ то, чего намъ недостаетъ, или быть можетъ не доставало намъ, чтобы начать трудный путь въ страну чистаго воздуха и свѣта. Мы говоримъ „недоставало“, потому что въ сердцѣ нашего писателя несомнѣнно горитъ жаркое пламя любви къ людямъ, огонь желанія вывести ихъ изъ ямы безвременья. Разгорится ли это пламя такъ же ярко, какъ пламя сердца Данко, зажжетъ ли оно сотни другихъ сердецъ, или угаснетъ одиноко растоптанное „осторожными, боящимися чего-то“, мы не беремся рѣшать, но мы не можемъ не воздать хвалу тому, кто въ эпоху безвременья, холодности, пустоты душевной, передъ трусливымъ, опустившимъ руки обществомъ, смѣло поднялъ свое горящее любовью сердце, призывая въ трудный и далекій путь въ страну чистаго воздуха и свѣта.

„Безумству храбрыхъ поемъ мы славу!

„Безумству храбрыхъ — вотъ мудрость жизни!“ ²⁾.

¹⁾ Т. I, 129—130.

²⁾ Т. I, стр. 240.

IV.

Г. Мережковскій о Толстомъ и Достоевскомъ ¹⁾).

(Д. Мережковскій. Христосъ и антихристъ въ русской литературѣ. — Левъ Толстой и Достоевскій. Ч. I. Спб. 1901 г.).

Чѣмъ тяжелѣе историческій моментъ, переживаемый какимъ нибудь народомъ, тѣмъ легче возникаютъ среди него горделивыя мечты объ исключительной міровой роли, предназначенной этому народу, мечты мистическія, иступленные, бредовыя. Такъ поляки въ эпоху паденія національной независимости, когда попытки возстановить свое государство были подавлены русскимъ оружіемъ, находили себѣ утѣшеніе въ мистическомъ товѣанствѣ, такъ русскіе славянофилы создавали свое горделивое ученіе о гніеніи запада въ самую мрачную для русской общественной мысли эпоху 30-хъ — 40-хъ годовъ, такъ и теперь, въ наше безвременье, ростъ самообольщеннаго націонализма и мистическія мечты о предстоящей міровой роли русскаго народа являются какъ бы компенсаціей за нищету русской жизни, своего рода галлюцинаціей, вызванной духовнымъ голодомъ, столько лѣтъ уже томящимъ мыслящую часть русскаго общества. Книжка г. Мережковскаго о Толстомъ и Достоевскомъ является характернымъ отзвукомъ этой *mania grandiosa*, порожденной дѣйствительнымъ упадкомъ и уничиженіемъ. Въ книгѣ г. Мережковскаго мѣткія наблюденія, слѣды внимательнаго изученія разсматриваемыхъ писателей чередуются съ мистическимъ туманомъ, бредовыми идеями, пророчествами, смѣ-

¹⁾ Было напечатано въ „Образованіи“ за 1901 г.

лыми до дерзости попытками судить о томъ, чего авторъ толкомъ не понимаетъ; однимъ словомъ, книга производитъ впечатлѣніе бреда чловѣка, потерявшаго подъ собой почву и окончательно погрязшаго въ дебряхъ мистицизма. Но если книга г. Мережковскаго представляетъ собой интересъ, какъ отзвукъ болѣзни современности, то, наряду съ этимъ, она не лишена интереса и для пониманія разсматриваемыхъ въ ней писателей. Г. Мережковскій внимательный и подчасъ тонкій наблюдатель; какъ таковой, онъ собираетъ много фактовъ, которымъ читатель можетъ дать совѣтъ иное освѣщеніе, изъ которыхъ можетъ сдѣлать совершенно противоположные выводы.

Г. Мережковскій очень высокаго мнѣнія о русской художественной литературѣ. Этой литературѣ онъ придаетъ огромное, міровое значеніе. Однако, по его же собственнымъ словамъ, Европа „до сихъ поръ не подозрѣваетъ дѣйствительныхъ размѣровъ ея всемірнаго значенія, уже видимыхъ намъ русскимъ“. Слова Достоевскаго, что „Россія скажетъ величайшее слово всему міру, которое тотъ когда либо слышалъ“, слова, полныя націоналистическаго экстаза, кажутся г. Мережковскому „преждевременными“ „*лишь* потому, что самъ Достоевскій не договорилъ этого слова“ до конца, не довелъ своего сознанія до послѣдней степени возможной ясности, испугался послѣдняго вывода изъ собственныхъ мыслей и сломилъ ихъ остріе, притупилъ ихъ жало и, дойдя до края бездны, отвернулся отъ нея и, чтобы удержаться и не упасть, снова ухватился за неподвижныя, окаменѣлыя историческія формы славянофильства, тѣ самыя, для разрушенія которыхъ онъ, можетъ быть, сдѣлалъ больше, чѣмъ кто либо¹⁾.

Такъ витіевато объясняетъ г. Мережковскій, почему міръ до сихъ поръ еще не услышалъ отъ Россіи величайшаго слова, которое когда нибудь слышалъ. Дѣло все въ недостаткѣ смѣлости у Достоевскаго. Несмотря на эту неудачу, г. Мережковскій утверждаетъ, что „наша вѣра“ въ будущность Россіи „еще самовластнѣе, еще дерзновеннѣе“, чѣмъ вѣра славянофиловъ, и если „Европа“ пока еще не раздѣ-

¹⁾ „Левъ Толстой и Достоевскій“, оттискъ изъ „Міра Искусства“ стр. 3.

ляетъ этой вѣры, не понимая всемірнаго значенія русской литературы, то только потому, что для нея „не открытъ еще первоисточникъ русской поэзіи — Пушкинъ, все еще недоступный для чужого взгляда“. „Изъ Пушкина“, по мнѣнію г. Мережковского, „вышли“ Достоевскій и Толстой, и если мы будемъ „углубляться“ въ Достоевскаго и Толстого, то мы дойдемъ до ихъ „первоисточника“ Пушкина. Впрочемъ, А. С. Пушкинъ былъ геній не достаточно сознательный, по мнѣнію г-на Мережковского, и Россія скажетъ свое „великое слово“ только съ появленіемъ „второго и окончательнаго, соединяющаго *символическаго* Пушкина“. Такимъ образомъ, изреченіе Россіей міру „величайшаго слова“ откладывается до второго пришествія Пушкина. Это, конечно, очень удобно: такъ какъ время пришествія символическаго Пушкина неизвѣстно, то можно до безконечности утѣшать себя мыслью, что этотъ „символическій Пушкинъ“ все таки придетъ и что Россія таки скажетъ когда нибудь „величайшее слово“, какія бы дикія слова она въ ожиданіи этого ни говорила. Утѣшеніе, весьма подходящее для человѣка безвременья. Не менѣе характерно и то, общее г. Мережковскому со многими русскими людьми, преувеличеніе значенія художественной литературы. Нигдѣ никогда художественная литература не возводилась на такой пьедесталъ, какъ у насъ, и это потому, что художественная литература — наше единственное духовное богатство. Не имѣя ни сколько нибудь развитой общественной жизни, ни философскихъ ученій, ни истинной науки, русскіе люди ухватываются за то, что имъ дала нещедрая судьба, за свой дѣйствительно прекрасный романъ, и хотятъ этимъ романомъ сказать что то неслыханное. Но какъ ни прекрасенъ русскій романъ, сколько ни заключаетъ онъ въ себѣ глубины и геніальности, онъ все таки не болѣе какъ романъ, а новыя, неслыханныя слова не романами даются. Не менѣе любопытно и выведеніе Толстого и Достоевскаго изъ Пушкина. Кого только не выводили у насъ „изъ Пушкина“, и выводили обыкновенно парами, какъ двѣ противоположности, развившіяся изъ одного начала. Почти одновременно съ г. Мережковскимъ вывести изъ Пушкина г. Никольскій Л. Толстого и Фета, раньше выводили Гоголя и Лермонтова, столь же успѣшно могутъ выводить изъ Пушкина и цѣлый рядъ другихъ паръ писателей,

напр. Чехова и Горькаго, даже Герцена и Каткова. Въ концѣ концовъ, эти выведенія паръ ничего не говорятъ ни о Пушкинѣ, ни о выводимыхъ писателяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что вся наша литература зависитъ въ значительной степени отъ Пушкина, что безъ него она была бы иной, но и самъ Пушкинъ такимъ, какимъ мы его имѣемъ, могъ явиться только послѣ Ломоносова, Державина и Жуковскаго, отсюда не слѣдуетъ однако, что все богатство позднѣйшей литературы заключается уже въ Пушкинѣ, Ломоносовѣ или Жуковскомъ. Въ Пушкинѣ, дѣйствительно, можно найти зародыши самыхъ разнообразныхъ идей и теченій. Но отсюда не слѣдуетъ считать его творцомъ этихъ теченій. Пушкинъ, поэтъ-эхо, главная особенность души котораго была въ необычайной многогранности, способной преломлять въ своемъ творчествѣ всѣ лучи, попадавшіеся на пути, дѣйствительно, отразилъ множество разнородныхъ зачатковъ идей и теченій, существовавшихъ въ современномъ ему обществѣ и развившихся порою часто въ прямая противоположности; но можно ли найти что нибудь общее между этой многогранной, но нѣсколько поверхностной, отзывчивостью съ тѣмъ упорнымъ служеніемъ излюбленной идеѣ, съ тѣмъ страстнымъ исканіемъ истины, которое было присуще многимъ изъ его quasi-учениковъ. Пушкинъ мимолетно отразилъ идеи и теченія современности, его преемники стали служить тѣмъ идеямъ, которыя развились изъ этихъ, отчасти отраженныхъ Пушкинымъ, идей. Разница громадная, исключая возможность выведенія новыхъ писателей изъ Пушкина. Больше оснований выводить писателей изъ Пушкина, рассматривая ихъ не какъ творцовъ величайшихъ словъ, которыми Россія должна наградить Европу, но какъ чистыхъ художниковъ. Однако и тутъ, развѣ одинъ Тургеневъ является дѣйствительнымъ преемникомъ Пушкина. У всѣхъ остальныхъ великихъ русскихъ писателей въ приѣмахъ творчества столько чуждаго Пушкину, что отъ Пушкина ихъ выводить можно развѣ только въ силу той же исторической преемственности, какъ и отъ Ломоносова. Къ числу такихъ писателей принадлежатъ и Л. Н. Толстой съ Достоевскимъ. „Углубленіе“ въ этихъ писателей, изученіе ихъ, какъ художниковъ и мыслителей, ведетъ не къ Пушкину, а отъ Пушкина. Чѣмъ больше вчитываться въ форму и содержаніе этихъ писателей, тѣмъ

болѣе въ нихъ откроется чуждаго Пушкину, противоположнаго ему. Изобразитель больныхъ страстей, Достоевскій, и безпощадный аналитикъ, Толстой, оба — проповѣдники, пожалуй, пророки, — что они общаго имѣютъ съ пластическимъ поэтомъ-эхомъ, спокойно и радостно отражавшимъ все, къ чему подходилъ, жившимъ, дѣйствительно, болѣе, чѣмъ какойнибудь изъ русскихъ писателей „для звуковъ сладкихъ и молитвъ“? Если возведение къ Пушкину Достоевскаго и Толстого не имѣетъ подъ собой твердыхъ основъ, то еще менѣе имѣетъ таковыхъ надъ собой ожиданіе примиренія Толстого и Достоевскаго въ новомъ, второмъ, символическомъ Пушкинѣ. Намъ придется еще вернуться къ вопросу о взаимоотношеніи Толстого и Достоевскаго; пока ограничимся замѣчаніемъ, что у этихъ писателей, при массѣ противоположнаго, есть много и общаго, и что это общее болѣе всего чуждо Пушкину. Если бы было возможно „примиреніе“ Достоевскаго съ Толстымъ, то результатомъ новаго примиренія было бы появленіе не Пушкина, а писателя съ общими имъ обоимъ, но совершенно чуждыми Пушкину чертами. Но появленіе новаго Пушкина вещь сама по себѣ невозможная. Невозможная потому, что Пушкины являются только на зарѣ литературнаго развитія, что они отражаютъ юность общественной мысли, наконецъ, потому, что Пушкинъ былъ продуктомъ условій и среды, которая повториться не могутъ. Еще менѣе вѣроятнымъ оказывается появленіе „символическаго“ Пушкина. Пушкинъ — поэтъ здороваго чувства, поэтъ кристальной ясности и идеальной простоты, что можетъ онъ имѣть общаго со старческими исхищреніями символизма, поэзіи искусственной, условной, вымученной? Символь — это умирающая или умершая ассоціація. Символь былъ когда то живымъ, естественнымъ образомъ, связаннымъ сходствомъ или смежностью, но затѣмъ связь живая забылась, исчезла, осталось условное сочетаніе. Тогда образъ становится символомъ, по его образцу создаются новыя условныя сочетанія. Слагается поэзія, щекочущая пресыщенные нервы, дающая какія то полувпечатлѣнія, не лишенная нѣкоторой таинственной загадочности, будящая что то неясное или полужасное. Создается поэзія красивая, но вычурная, неестественная, далекая отъ порывовъ простаго здороваго чувства, далекая отъ ясныхъ пластичныхъ образовъ

поэзии лучших дней, следовательно, и отъ поэзии Пушкина. Пушкинъ, юношески свѣжій и кристально-ясный Пушкинъ, котораго оттого такъ часто не понимаютъ, что онъ очень ужъ простъ, этотъ Пушкинъ дальше отъ символизма, чѣмъ кто бы то ни было.

Возведение Достоевскаго и Толстого къ Пушкину, триада: Пушкинъ, расчленение его въ Достоевскомъ и Толстомъ и примирение ихъ въ грядущемъ „символическомъ“ Пушкинѣ — все это сложное искусственное построение нужно было г. Мережковскому для того, чтобы доказать, что Достоевскій художникъ духа, Толстой же художникъ плоти, но что и тотъ и другой не рѣшились сдѣлать того, что сдѣлалъ онъ самъ, г. Мережковский, являющийся, такимъ образомъ, если не самымъ „символическимъ Пушкинымъ“, то предтечей, пророкомъ такового.

„Но вѣдь это и есть то мировое противорѣчiе“, говоритъ г. Мережковский, цитируя слова Достоевскаго о встрѣчѣ Аполлона Бельведерскаго и Христа, „о которомъ и я (г. Мережковский) говорилъ въ статьѣ о Пушкинѣ, разрѣшенiя котораго и я искалъ въ немъ. Правда, Достоевскій и здѣсь, какъ будто испугавшись, не договариваетъ послѣдняго слова, не дѣлаетъ послѣдняго вывода. Но при теперешней степени *всеобщаго* ¹⁾ неизбѣжнаго сознанiя, намъ (кому?) уже нельзя останавливаться, недоговаривать и не сдѣлать послѣдняго шага. *Я его сдѣлалъ!* и вотъ все, что я сдѣлалъ, и тому, кто нѣсколько глубже знаетъ Достоевскаго, ясно будетъ, какъ это мало“ ²⁾. Если читатель вспомнить, что Европа до сихъ поръ не услыхала отъ Россiи величайшаго изъ словъ, какiя когда либо слышала, только потому, что Достоевскій не сдѣлалъ послѣдняго вывода, то онъ вправѣ заключить, что разъ этотъ выводъ сдѣланъ г. Мережковскимъ, то „слово“ Россiей устами г. Мережковскаго уже сказано. Правда, сказано такъ тихо, что ни Европа, ни мы этого слова не слышали, но все же сказано; можетъ быть, это слово сказано пророчески, такъ, что доступно будетъ грядущимъ поколѣнiямъ. а мы можемъ только прозрѣвать; по крайней мѣрѣ, г. Мережковский какъ бы намекаетъ на свой даръ пророчества.

¹⁾ Курсивъ г. Мережковскаго.

²⁾ Толстой и Достоевскій стр. 6.

говоря въ главѣ, посвященной сравненію жизни Л. Толстого и Достоевскаго: „тѣмъ не менѣе, обѣ эти жизни, одинаково великія, одинаково русскія, завершаютъ и дополняютъ одна другую, необходимы одна для другой, — какъ будто нарочно созданы для *пророческихъ сопоставленій и сразненій*“, —¹⁾ и дальше начинаетъ самъ пророчествовать о грядущемъ пришествіи „символическаго Пушкина“. Но кто бы ни былъ г. Мережковский, Мессія-ли онъ, т.-е. „символическій Пушкинъ“, съ пришествіемъ котораго Россія, наконецъ, скажетъ свое величайшее слово, или только пророкъ этого символическаго Мессіи-Пушкина, несомнѣнно, что г. Мережковский вѣритъ во второе пришествіе Пушкина и въ то, что онъ будетъ не плотскимъ и не безплотнымъ, а символическимъ, вѣритъ и въ то, что этотъ символическій Пушкинъ долженъ имѣть двухъ предшественниковъ, одного плотскаго, другого безплотнаго. Сообразно съ такой вѣрой, г. Мережковский и распредѣляетъ роли нашихъ двухъ великихъ писателей, дѣлая болѣе симпатичнаго ему Достоевскаго безплотнымъ, менѣе симпатичнаго Толстого — плотскимъ. Къ этимъ рамкамъ г. Мережковский безпощадно пригоняетъ всю жизнь и дѣятельность обоихъ писателей, широко пользуясь всякими приѣмами, дающими возможность разыскать хотя-бы намекъ на то, что нужно автору. Писатели отождествляются съ героями ихъ произведеній, отвѣчаютъ не только за ихъ мысли, но и за черты характера (Толстой за Левина) и т. д., нерѣдко авторъ переходитъ съ литературной на теологическую почву и т. д. Тѣмъ не менѣе, разсмотрѣніе этой работы не лишено интереса не только для выясненія взглядовъ автора, но и для выясненія нѣкоторыхъ чертъ разсматриваемыхъ имъ писателей, такъ какъ, повторяемъ, г. Мережковский, когда перестаетъ быть пророкомъ и мыслителемъ, недурной наблюдатель. Мы остановимся сначала на томъ, что говоритъ г. Мережковский о Достоевскомъ, такъ какъ характеристика имъ этого болѣе близкаго ему по міропониманію писателя болѣе выясняетъ взгляды нашего автора и позволяетъ разобратъ въ его сужденіяхъ о Толстомъ.

Достоевскаго, какъ и Толстого, г. Мережковский подвергаетъ, такъ сказать, моральной экзекуціи. Возводитъ на страш-

¹⁾ Толстой и Достоевскій стр. 61.

ный по своей высотѣ пьедесталь и въ то же время подвергать экзекуціи — это, конечно, очень курьезный пріемъ, но что дѣлать, надо полагать, что экзекуція представляется г. Мережковскому, такъ сказать, символическимъ возвеличеніемъ; г. Мережковский бросаетъ бѣдныхъ писателей изъ подполья на небеса, изъ животныхъ возводитъ въ боги и обратно. Для г. Мережковского нѣтъ существенной разницы между звѣремъ и божествомъ, между мерзостью и святостью, оттого онъ то пророчествуетъ, что русскій народъ „найдетъ лицо свое“ въ какомъ то будущемъ, невѣдомомъ дѣятелѣ, а „этого будущаго, третьяго и послѣдняго (!) окончательно (!) „благообразнаго“, окончательно русскаго (!) и всемірнаго лица не должно ли искать именно здѣсь въ двухъ величайшихъ современныхъ лицахъ—Л. Толстомъ и Достоевскомъ?“¹⁾, то начинаетъ копаться въ личной жизни писателей, безъ сколько нибудь твердыхъ основаній, приписывая имъ подчасъ прямо таки мерзости. И это послѣ пророчествъ о нахожденіи въ нихъ окончательно благообразнаго лица. Что это „окончательное благообразіе“ г. Мережковский ожидаетъ видѣть не только въ области эстетической, что онъ придаетъ ему міровое мистическое значеніе, можно судить по слѣдующему пророчеству его:

„Всю жизнь оставался Л. Толстой вѣрнымъ этому взгляду на русскую литературу, какъ на домъ сумасшедшихъ. Всю жизнь искалъ онъ своего оправданія и своей святости въ отреченіи отъ культурнаго общества, въ бѣгствѣ къ народу, въ умертвленіи плоти, въ ручномъ трудѣ, во всемъ, кромѣ того, къ чему, казалось, призванъ былъ Богомъ.

„Всей своей жизнью Достоевскій показалъ, что такъ же, какъ въ прошлые вѣка могли быть героями цари, законодатели, воины, пророки, подвижники, — въ современной культурѣ одинъ изъ послѣднихъ героевъ есть герой Слова — литераторъ.

„Будущее рѣшить, кто изъ нихъ правъ, и не суждено ли именно среди героевъ Слова, такъ же, какъ и среди другихъ героевъ искусства и познанія, явиться этимъ избранникамъ, которые будутъ имѣть власть надъ людьми въ третьемъ и

¹⁾ Стр. 81.

послѣднемъ царствѣ Духа“ ¹⁾). Какъ видите, это уже истинное мессіанство, и это мессіанство, это пришествіе имѣющихъ власть „въ третьемъ и послѣднемъ царствѣ духа“ находится въ прямой связи съ обрѣтеніемъ „своего лица“ русскимъ народомъ, долженствующимъ сказать міру величайшее слово, почти что сказанное Достоевскимъ, обрѣтеніемъ въ третьемъ, послѣднемъ, „окончательно благообразномъ“, „окончательно русскомъ“ героѣ, предтечами котораго являются Достоевскій и Толстой. Итакъ, Достоевскій и Толстой, особенно же Достоевскій, близки къ Мессіи, близки къ „окончательно благообразному“; теперь посмотримъ же, какою представляеть г. Мережковскій нравственную личность этого предшественника Мессіи, „всей жизнью своей показавшаго, что въ современной культурѣ одинъ изъ послѣднихъ героевъ, герой Слова — литераторъ“.

„Во всякомъ случаѣ“, говоритъ г. Мережковскій, рассматривая личность Достоевскаго, какъ человѣка, „должно принять въ расчетъ неодолимую потребность его, какъ художника, изслѣдовать самыя опасныя и преступныя бездны человѣческаго сердца, преимущественно бездны сладострастія, во всѣхъ его проявленіяхъ. Начиная отъ самаго высшаго, одухотвореннаго, граничащаго съ религіозными восторгами—сладострастія „ангела“ Алеши Карамазова и кончая сладострастіемъ злого насѣкомаго, „паучихи-пожирающей самца своего“,—тутъ вся гамма, вся радуга безконечныхъ переливовъ и отгѣнковъ этой самой таинственной (?) изъ человѣческихъ страстей, въ ея наиболѣе острыхъ и болѣзненныхъ извращеніяхъ. Замѣчательна *одинаково необходимая кровная связь* не только чудовищнаго Смердякова, не только Ивана, „борющагося съ богомъ“, и жестокаго, какъ будто „укушеннаго тарантуломъ“, сладострастника Дмитрія, но и непорочнаго херувима Алеши, съ отцомъ ихъ по плоти, „извергомъ“, Ѳеодоромъ Петровичемъ Карамазовымъ, *такъ же, какъ съ отцомъ ихъ по духу, самимъ Достоевскимъ*. Дѣйствительно, это по преимуществу его ²⁾ семья, и онъ бы отрекся отъ нея, можетъ быть, передъ людьми, но не передъ собственной совѣстью и не передъ Богомъ“ ³⁾).

¹⁾ Стр. 72.

²⁾ Курсивъ г. Мережковскаго.

³⁾ Стр. 73.

Такимъ образомъ, человѣкъ, *вся жизнь* котораго была доказательствомъ, что послѣдній герой есть герой литераторъ, человѣкъ столь близко стоящій къ „окончательно благообразному“, оказывается сродни Смердякову. Это тоже своеобразное „сладострастіе“ представителей тѣхъ разнообразныхъ теченій, которыя, во избѣжаніе недоразумѣній, могущихъ быть порожденными обычнымъ уже словомъ „декадентства“; мы называли уже въ одной изъ нашихъ работъ „упадочничествомъ“; упадокъ характеризуется, между прочимъ, потерей всякихъ опредѣленныхъ границъ, всякихъ ясныхъ контуровъ, какъ въ области искусства, мысли, такъ и этики. Благодаря этой безформенности разложенія, добро и зло, святыня и грязь перемѣшиваются у упадочника, не оскорбляя его; напротивъ, такое сочетание щекочетъ его извращенныя чувства, и онъ съ особенной любовью соединяетъ порывы въ небеса съ самой земной грязью, гимны святой Дѣвѣ съ порнографіей (Верленъ); такъ и г. Мережковский одинъ изъ характерныхъ представителей русскаго упадка, дѣлая изъ Достоевскаго святыню, съ такимъ же извращеннымъ наслажденіемъ тотчасъ же топчетъ эту святыню въ грязь. Но не останавливаясь на родствѣ Достоевскаго съ Смердяковымъ, г. Мережковский, съ изумительной развязностью, возводитъ на Достоевскаго обвиненія, отъ которыхъ сильно коробитъ всякаго, кто чититъ въ Достоевскомъ не пророка, не писателя „величайшаго слова“, не предтечу Мессіи, а просто одного изъ талантливѣйшихъ русскихъ писателей. Вотъ этотъ извѣтъ, который намъ кажется прямой гнусностью по отношенію къ памяти великаго писателя:

„Существуетъ въ рукописи ненапечатанная глава изъ „Бѣсовъ“, исповѣдь Ставрогина, гдѣ, между прочимъ, онъ рассказываетъ о растлѣннй дѣвочки. Это одно изъ могущественнѣйшихъ созданій Достоевскаго, въ которомъ слышится звукъ такой ужасающей искренности, что понимаешь тѣхъ, кто не рѣшается напечатать этого даже послѣ смерти Достоевскаго: тутъ что-то, дѣйствительно, есть, что преступаетъ „за черту“ искусства, — это *слишкомъ живо*“ ¹⁾.

Намекъ достаточно прозраченъ, но онъ становится еще прозрачнѣе, если сопоставить его съ тѣмъ, что говорить

¹⁾ Стр. 73 (курсивъ г. Мережковского).

г. Мережковский объ отношеніи личности Достоевскаго къ его персонажамъ непосредственно послѣ цитированныхъ нами словъ:

„Но въ злодѣянїяхъ Ставрогина, пишетъ г. Мережковский, даже въ послѣднихъ низостяхъ его паденія есть, по крайней мѣрѣ, какъ бы не потухающій, демоническій отблескъ того, что было красотою, есть величіе зла. Достоевскій не оставливается, однако, и передъ изображеніемъ самаго будничнаго и мелкаго разврата, въ которомъ уже нѣтъ никакого величія. Герой или „анти-герой“ „Записокъ изъ подполья“ стоитъ на умственной высотѣ величайшихъ героевъ Достоевскаго, наиболѣе близкихъ сердцу его. Онъ выражаетъ самую сущность религіозныхъ бореній и сомнѣній самого художника. Въ этой исповѣди чувствуется иногда самобичеваніе не менѣе страшное, чѣмъ въ „Исповѣди“ Л. Толстого“ ¹⁾. Затѣмъ, приводя обширную цитату изъ покаянныхъ рѣчей героя „Записокъ изъ подполья“ о томъ, какъ этотъ „герой“ развратничалъ, г. Мережковский говоритъ:

„Во всѣхъ этихъ изображеніяхъ у Достоевскаго — такая сила и смѣлость, такая новизна открытій и откровеній, что иногда является смущенный вопросъ: могъ ли онъ все это узнать *только* ²⁾ по *внѣшнему* опыту, только изъ наблюдений надъ другими людьми. Есть-ли это любопытство *только* художника? Конечно, тутъ многое должно поставить на счетъ ясновидѣнія генія, многое—но все-ли? Впрочемъ, пусть даже въ дѣлахъ, въ жизни самого Достоевскаго не было ничего соотвѣтствующаго этому преступному или, по крайней мѣрѣ, переступающему „за черту“ любопытству художника, достойно вниманія уже и то, что въ воображеніи его могли возникать подобные образы“ ³⁾.

Мы не знаемъ біографіи Достоевскаго съ той стороны, съ которой касается ея здѣсь г. Мережковский; думаемъ, что ее почти никто не знаетъ съ этой стороны и не будетъ знать, такъ какъ не много есть охотниковъ рыться въ такихъ тайныхъ язвахъ, какъ дѣлаетъ г. Мережковский, далеко переходящій „за черту“ стыдливости по отношенію къ памяти великаго писателя. Намъ думается, что не дѣло критики касаться такихъ почти фізіологическихъ и чисто фізіологиче-

¹⁾ Стр. 74.

²⁾ Курсивъ въ этой цитатѣ вездѣ принадлежитъ г. Мережковскому.

³⁾ Стр. 74.

скихъ отправленій человѣческой личности, которая интересна для насъ своей интеллектуальной жизнью. Такія экскурсіи въ область чисто интимной жизни человѣка дѣло психіатра, а не критика. Но, помимо всего этого, намъ кажется, что никто не долженъ ни о живомъ, ни о мертвомъ человѣкѣ высказывать такихъ предположеній, какія высказаны г. Мережковскимъ о Достоевскомъ, если не имѣетъ достаточно твердой увѣренности въ ихъ истинности, не долженъ потому, что такое безосновательное высказываніе является не чѣмъ инымъ, какъ клеветой, и клеветой тѣмъ болѣе вредной, что ни самъ пострадавшій, ни его близкіе не могутъ опровергнуть ее. Въ самомъ дѣлѣ, какъ доказать, что Достоевскій ничего общаго не имѣлъ съ преступленіемъ Ставрогина, что онъ былъ чуждъ пороковъ героя „Записокъ изъ подполья“? Какъ опровергать то, что высказывается бездоказательно, быть можетъ, безъ всякихъ основаній, кромѣ сомнительныхъ „критическихъ“ домысловъ, но тономъ человѣка посвященнаго, проникшаго въ тайники души того, который то возводится на пьедесталь пророка и святого, то обливается смрадной грязью? Въ такихъ приемахъ сказывается истинный упадокъ, упадокъ не только идейный, интеллектуальный, но и этический. Только потерявъ всякія этическія мѣрки, можно такъ обращаться съ памятью, повидимому, боготворимаго человѣка.

Далѣе г. Мережковскій предпринимаетъ сыскъ по поводу пристрастія Достоевскаго къ карточной игрѣ. Какъ исходной точкой для приписыванія Достоевскому преступления Ставрогина и мерзостей героя „Записокъ изъ подполья“ служило г. Мережковскому признаніе Достоевскаго въ увлеченіи „Миннушками, Кларами и Марьянами“ и въ томъ, что Бѣлинскій и Тургеневъ разбрали Достоевскаго за безпорядочную жизнь, точно такъ же поводомъ для обвиненія Достоевскаго въ пристрастіи къ картамъ служить г. Мережковскому тотъ фактъ, что Достоевскій однажды за границей проигрался въ азартную игру и просилъ у Майкова денегъ. Просьба эта, въ тонѣ которой звучитъ растерянность, свойственная человѣку съ некрѣпкими нервами, попавшему въ отчаянное положеніе, представляется г. Мережковскому напоминающей рѣчи людей „потерявшихъ чувство собственного достоинства“, вродѣ „пьяненькаго“ Мармеладова и проходимца капитана Лебядкина.

Найдя въ Достоевскомъ всевозможныя мерзости, въ значительной части которыхъ, если не во всѣхъ, покойный писатель былъ, конечно, неповиненъ, г. Мережковский начинаетъ отыскивать „высокія“ качества, чтобы сдѣлать этого только что очерченного имъ человѣка „святимъ“. Такъ признаки святости онъ находитъ въ сильной, но нисколько не выделяющейся изъ порядка вещей любви Достоевскаго къ пасынку, къ умершей дочери. Все это чувства самыя обычные, свойственныя массѣ людей, отнюдь не претендующихъ на святость, но если въ нихъ странно видѣть святость, то еще страннѣе находить нѣчто „священное“ въ болѣзни Достоевскаго — въ эпилепсиі. Тутъ г. Мережковский спускается до уровня первобытнаго человѣка, которому всякій экстазъ, всякая душевная болѣзнь внушала мистическое уваженіе. Первобытный человѣкъ относился такъ къ болѣзнямъ и аффектамъ потому, что не могъ понимать ихъ причины, современный упадочникъ, повидимому, потому, что, чувствуя отсутствіе здоровья въ себѣ и „своихъ“, желаетъ возвести болѣзнь въ „перль созданія“. Для больного расшатаннаго поколѣнія слабыхъ людей и ихъ выразителей, „упадочниковъ“, нѣтъ ничего болѣе привлекательнаго, какъ признать болѣзнь чѣмъ то высшимъ и отвернуться отъ „вульгарнаго“ здоровья.

„Сила ли его отъ болѣзни, или болѣзнь отъ силы? задаетъ себѣ вопросъ г. Мережковский о Достоевскомъ. „Дѣйствительная святость,—если не самого Достоевскаго (хотя близкіе къ нему люди увѣряютъ, что бывали такія минуты, когда и онъ казался почти „святимъ“), то хотя бы святость „Идіота“,—отъ кажущейся болѣзни, или несомнѣнная болѣзнь отъ сомнительной святости“? ¹⁾.

На этотъ вопросъ г. Мережковский отвѣчаетъ довольно неувѣренно, неясно, но съ видимымъ наклономъ къ признанію болѣзни источникомъ святости.

„Я ничего не предрѣшаю, говоритъ онъ, — я только указываю на то, что, можетъ быть, теперь уже нельзя отъ этого вопроса отдѣливаться съ тою легкостью, которая свойственна исключительно будто бы научной, *клинической* ²⁾, точкѣ зрѣнія“ ³⁾.

¹⁾ Стр. 142.

²⁾ Курсивъ г. Мережковского.

³⁾ Стр. 143.

Далѣе, цитируя слова Свидригайлова, что нѣтъ строгой логики въ томъ, что привидѣнія считались результатомъ болѣзни, приводя разсужденія его же и самого Достоевскаго о „соприкосновеніи съ другимъ міромъ“, доступномъ больнымъ (мысль опять таки свойственная первобытному человѣку и лежавшая въ основѣ его отношенія къ нѣкоторымъ болѣзнямъ), наконецъ разсужденія князя Мышкина о той „гармоніи“, которая дается припадками падучей, г. Мережковскій сожалеетъ, что князь Мышкинъ не доводитъ своихъ выводовъ до конца. Г. Мережковскій хочетъ идти дальше князя Мышкина, какъ и Достоевскаго.

„Огромное, говоритъ онъ,—не только чисто религіозное, но и философское, научное, культурно-историческое значеніе имѣетъ вопросъ: можно-ли отдать за „моментъ высшаго бытія“ жизнь не только человѣка, но и всего человѣчества? Другими словами, есть ли цѣль всемірно историческаго развитія безконечное продолженіе во времени въ преемственности культуръ, въ средѣ поколѣній, или нѣкоторое окончательное завершеніе всѣхъ историческихъ судебъ, всѣхъ „временъ и сроковъ“ въ мгновеніи высшаго бытія, въ томъ, что христіанская мистика называетъ „кончиною міра“? ¹⁾).

Далѣе г. Мережковскій даетъ цѣлый рядъ иллюстрацій этого состоянія изъ произведеній Достоевскаго, иллюстрацій весьма цѣнныхъ, какъ показатель степени болѣзненности творчества этого писателя, но, конечно, не для выясненія отношеній болѣзни къ концу міра; г. Мережковскій приходитъ къ взгляду на ту „гармонію“, къ которой приближается душевная болѣзнь героевъ Достоевскаго, какъ на форму мистическаго перерожденія человѣка и человѣчества. Въ итогъ, такимъ образомъ, болѣзнь для г. Мережковскаго является силой Достоевскаго, его „святостью“, тѣмъ, что приближаетъ его къ окончательному мистическому идеалу. Намъ придется остановиться нѣсколько на этомъ мистическомъ идеалѣ. Онъ является у г. Мережковскаго, такъ сказать, триединымъ: онъ — пришествіе символическаго Пушкина, онъ — „конецъ міра“ въ высшей гармоніи души эпилептика, онъ, наконецъ, „третій, послѣдній, русскій Римъ“.

¹⁾ Стр. 144.

„Въ послѣдніе годы жизни своей, говорить г. Мережковский, во время русско-турецкой войны, мечталъ Достоевскій о Царь-Градѣ, какъ о новой окончательной русской столицѣ. О реальномъ историческомъ Царь-Градѣ онъ только мечталъ, но онъ уже совершенно и ясно сознавалъ, что Петербургъ — второй городъ Россіи — не есть ея предѣлъ и цѣль, а только переходъ, только мостъ, какъ будто противоестественно перекинутый черезъ какую-то историческую бездну, — только путь отъ перваго русскаго города къ третьему и *послѣднему*, русскому и въ то же время всемірному, къ „третьему, русскому Риму“ — тому самому, мысль о которомъ была предсмертной мыслью древней московской, „святой“ Россіи, и есть первая, едва пробуждающаяся мысль новой, будущей, послѣ-петровской, тоже *святой* ¹⁾ Россіи. Достоевскій, одинъ во всемъ нашемъ культурномъ обществѣ, былъ тотъ всемірный человѣкъ, о которомъ говоритъ апостолъ Павелъ и котораго такъ давно уже нашелъ, принялъ русскій народъ, — человѣкъ, „настоящаго града не имѣющій, грядущаго града взыскующій“ ²⁾.

Такимъ образомъ, когда русскій народъ, принявшій уже человѣка, „взыскавшаго новаго града“, отыщетъ свое лицо во второмъ, символическомъ Пушкинѣ, въ которомъ будетъ гармонія, преисполняющая душу больного эпилептика и стоящая жизни „не только человѣка, но и человѣчества“, тогда Россія скажетъ свое величайшее слово, какое міръ слышалъ, и явится третій, русскій и вмѣстѣ съ тѣмъ всемірный, Римъ, послѣдній потому, что некуда больше идти. Таково мистическое построение г. Мережковского. Въ немъ несомнѣнно много патологическаго и его патологичность рѣшаетъ вопросъ о взаимоотношеніи силы и болѣзни у Достоевскаго. Болѣзнь есть и у г. Мережковского и у Достоевскаго, (болѣзнь мысли), и притомъ довольно сходная, но то, что у Достоевскаго было бы мощнымъ, у г. Мережковского истерично-безсильно. Его бредъ не зажжетъ пламени фанатическаго экстаза ни въ чьей душѣ. Его можно съ интересомъ разсматривать и анализировать, но безъ анализа можно видѣть въ немъ только курьезъ. Разница въ талантѣ — могутъ у Достоевскаго и маленькомъ у г. Мережковского.

¹⁾ Курсивъ г. Мережковского.

²⁾ Стр. 155.

Но анализируя бредъ г. Мережковского, нельзя не найти въ немъ много любопытнаго. Прежде всего открывается въ немъ родство съ другими бредовыми явлениями въ нашей общественной мысли послѣдняго десятилѣтія, напимѣръ, съ мистическимъ бредомъ послѣднихъ писаній покойнаго В. С. Соловьева. Разница опять таки въ талантѣ, и опять таки не въ пользу г. Мережковского, хотя на этотъ разъ не въ такой сильной степени, но сущность очень близка. Вмѣстѣ съ этими мечтаніями поэта-философа В. С. Соловьева, мечты г. Мережковского имѣютъ одну черту, которая красной нитью проходитъ черезъ все послѣднее десятилѣтіе, сказываясь въ самыхъ разнородныхъ теченіяхъ мысли. Этимъ объединяющимъ „нѣчто“ мы считаемъ мучительное исканіе точки опоры, которая дала бы возможность найти выходъ изъ ямы безвременья, найти просвѣтъ. Это исканіе одинаково замѣтно и въ причудахъ декадентства и символизма, дошедшихъ до ожиданія второго пришествія Пушкина, и въ социологическихъ построеніяхъ неомарксизма, повидимому завершающаго уже свой путь, и въ культѣ свободной личности у Максима Горькаго, и въ всеокрушающей могучей эволюціи мысли Л. Н. Толстого. Всѣмъ, сколько нибудь мыслящимъ и чувствующимъ людямъ, невыносимо душно въ ямѣ „безвременья“, всѣ рвутся изъ нея, всѣ ищутъ выхода, но ищутъ его сообразно съ своими нравственными и интеллектуальными силами, одни въ мистическомъ третьемъ Римѣ, другіе—въ ростѣ капитализма и классовой борьбѣ, третьи—въ освобожденіи поработенной человѣческой личности отъ разнообразныхъ цѣпей, четвертые—въ культѣ истины и добра, возведенныхъ въ Божество.

Характерной также является для большинства этихъ исканій ихъ несамостоятельность, ихъ стремленіе опереться на нѣчто въ прошломъ, на готовую научную доктрину или мистическое ученіе. У людей безвременья не хватаетъ силы, чтобы искать выхода, опираясь только на разумъ и знанія; они стремятся усвоить готовую вѣру, которая за нихъ все бы разъясняла, которая ихъ направляла бы; эта вѣра бываетъ различною: одни вѣрятъ въ мечтанія Достоевскаго, другіе—въ историческій процессъ, но источникъ ихъ тотъ же:—быть можетъ, смутное, но неизмѣнное чувство собственной слабости. Даже мощная мысль Л. Н. Толстого не можетъ

отрѣшиться отъ гнета авторитета, который, связывая его свободу мышленія, значительно обезпложивааетъ творчество его мысли. Отсюда же, отъ этого же гнета авторитета, призванного на помощь собственной слабости, у людей безвременья является необходимость тащить факты на прокрустово ложе съ одной стороны, и нетерпимость къ чужой вѣрѣ съ другой. Вѣра во что бы то ни было всегда нетерпимѣе и одностороннѣе знанія, и если въ иные особенно тяжелые моменты какъ отдѣльный человѣкъ, такъ и общество не въ состояніи довольствоваться знаніемъ, всегда ограничивающимъ себя, всегда допускающимъ сомнѣнія, а нуждается во всеразрѣшающей вѣрѣ, то эта вѣра все таки сильно затемняетъ ему многое, въ чемъ онъ, можетъ быть, и могъ бы безъ нея разобраться. Г. Мережковский въ поискахъ вѣры набрелъ на Достоевскаго и Ницше, и эти два больныхъ таланта овладѣли имъ. Ничего поэтому нѣтъ удивительнаго въ томъ, что для него оказался непонятнымъ здоровый геній Л. Н. Толстого, столь противоположный полубезумію Достоевскаго и Ницше. Г. Мережковский оказывается совершенно неспособнымъ оцѣнить и понять Толстого. Все написанное имъ о Толстомъ сплошная попытка умалить значеніе этого гиганта, но попытка „съ негодными средствами“. Какъ хвалы г. Мережковскаго Достоевскому только больше отгнѣняютъ темныя стороны его творчества, его болѣзненность, извращенность, такъ хулы на Толстого только отгнѣняютъ здоровье и свѣжесть мысли великаго писателя, мощностъ и реализмъ его таланта. По отношенію къ Толстому, имя котораго теперь у всѣхъ на устахъ, г. Мережковский сыгралъ непочетную роль клеветника у триумфальной колесницы.

Какъ и Достоевскаго, г. Мережковский пытается Толстого подвергнуть экзекуціи за его личную жизнь. Надо сознаться, что здѣсь онъ оказывается скромнѣе. Толстой у него оказывается только эгоистомъ и притворщикомъ. Если сравнить это съ тѣми гнусностями, которыя г. Мережковский приписываетъ Достоевскому, то это еще очень милостиво. Г. Мережковский никакъ не можетъ простить Л. Н. Толстому, что онъ не пошелъ, какъ Некрасовскій Власъ, собирать на Божій храмъ. Это обстоятельство кажется г. Мережковскому почти столь же роковымъ, какъ то, что Достоевскій не договорилъ своего „величайшаго слова“.

„Понялъ ли онъ, спрашиваетъ г. Мережковскій о Толстомъ, великое и страшное слово Учителя: „враги человѣку домашніе его“?

„Мы знаемъ, какъ поступали въ такихъ точно случаяхъ христіанскіе подвижники прошлыхъ вѣковъ. Когда Пьетро Бернардоне, отецъ св. Франциска Ассизскаго, подалъ епископу жалобу, обвиняя сына въ томъ, что онъ рсточаетъ имѣніе, хочетъ раздать его бѣднымъ, — Францискъ, снявъ съ себя одежду до послѣдней рубашки, сложилъ платье вмѣстѣ съ деньгами къ ногамъ отца и сказалъ: „до сей поры называлъ я Пьетро Бернардоне отцомъ моимъ. Но теперь, желая послужить Богу, возвращаю этому человѣку все, что я взялъ отъ него, и отнынѣ буду говорить не отецъ мой Пьетро Бернардоне, а Господь небесный мой отецъ“. И совершенно голымъ, какимъ вышелъ изъ утробы матери, представляетъ легенда, — бросился Францискъ въ объятія Христа.

„Такъ же поступилъ любимый русскимъ народомъ угодникъ, Алексѣй Божій человѣкъ, тайно бѣжавшій изъ родительскаго дома. Такъ и донинѣ поступаютъ всѣ русскіе подвижники, пожелавшіе исполнять заповѣдь Христа: кто не покинетъ и дома, и полей, и дѣтей во Имя мое, тотъ недостоинъ меня.

„Роздалъ Власъ“ и т. д. ¹⁾.

Путешествіе Л. Н. Толстого на подобіе Франциска Ассизскаго или Некрасовскаго Власа, должно было бы, по мнѣнію г. Мережковскаго, уничтожить бездну между интеллигенціей и народомъ.

„Такъ вотъ что должно было совершиться“, восклицаетъ г. Мережковскій, „великій писатель русской земли долженъ былъ сдѣлаться подвижникомъ русскаго народа, — явленіе небывалое въ нашей культурѣ, — снова найденный религіозный путь черезъ бездну, вырытую Петровскимъ преобразованиемъ между нами и народомъ“ ²⁾.

Почему скитаніе à la Власъ болѣе уничтожаетъ бездну между интеллигенціей и трудящейся массой, именуемой по старинной привычкѣ „народомъ“, чѣмъ трудовая жизнь, приближающаяся къ той, которую ведетъ самъ „народъ“,

¹⁾ Стр. 28 — 9.

²⁾ Ibidem.

какимъ, наконецъ, образомъ эта бездна между интеллигенціей и народомъ, дѣйствительно вырытая Петровской реформой, продолжающая расти до настоящей минуты, бездна, заключающаяся въ безконечной разницѣ культуры и міропониманія, могла бы быть уничтожена подвигомъ одного, хотя бы и гениальнаго, человѣка, все это загадки, отвѣтить на которыя можетъ развѣ только самъ г. Мережковский, да и то, надо думать, невразумительно. Требовать отъ Толстого хожденія à la Власть, это своего рода юродство, тѣмъ болѣе странное, что самъ требующій далека, повидимому, отъ подобнаго хожденія. Противорѣчія хъ Л. Н. Толстого, отмѣчаются подчасъ весьма удачно г. Мережковскимъ, но тотъ фактъ, о которомъ идетъ рѣчь, вовсе не есть противорѣчіе: идти à la Власть питаться чужимъ трудомъ и собирать чужіе трудовые гроши на построеніе храма, — такой идеалъ конечно ни на минуту не могъ явиться у Л. Н. Толстого, не могъ отнюдь не въ силу отсутствія въ немъ искренности и послѣдовательности. Нельзя не отмѣтить, что данный фактъ до нельзя неудачно выбранъ г. Мережковскимъ. Образъ Франциска Ассизскаго, одинъ изъ наиболѣе мягкихъ, гуманныхъ образовъ средневѣковья, въ этомъ фактѣ является передъ нами далеко не съ обычнымъ ореоломъ своимъ. Здѣсь Францискъ обычный аскетъ съ свойственнымъ аскетизму прямолинейнымъ себялюбіемъ. Какъ мало мягкости въ его отношеніи къ отцу, правоту котораго, съ его человѣческой точки зрѣнія, долженъ былъ почуять Францискъ своей человѣческой душой. Какъ легко и безсердечно просто разрываетъ Францискъ свои отношенія съ отцомъ, какъ будто отъ него онъ только и получилъ что деньги и платье, какъ будто деньгами и платьемъ ограничивалась его связь съ отцомъ? Конечно не отсутствіе такой прямолинейной черствости можетъ быть поставлено въ вину человѣческой душѣ (а вѣдь г. Мережковский пока толкуетъ о Л. Н. Толстомъ, не какъ о писателѣ и мыслителѣ, а какъ о человѣкѣ).

Но Толстой не послѣдовалъ примѣру Некрасовскаго Власа, и г. Мережковский язвительно замѣчаетъ объ этомъ человѣкѣ, жизнь котораго полна противорѣчій, но вмѣстѣ съ тѣмъ и искренности: „Ему настолько удалось примирить волю жены съ волею Бога, что въ послѣднее время Софья Андреевна

стала относиться спокойнѣе къ ученію своего мужа — она свыклась. Такъ вотъ новый способъ, оставаясь верблюдомъ, проходить сквозь игольное ушко, — „не брать денегъ въ руки“, „не носить ихъ при себѣ“ и „закрывать глаза!“

„Полно, восклицаетъ далѣе г. Мережковскій, не иронія ли это, не самая ли злая насмѣшка надъ нимъ, надъ нами и надъ ученіемъ Христа? И ежели это имѣетъ какой-нибудь смыслъ передъ судомъ человѣческимъ, то передъ Божьимъ Судомъ, что же, наконецъ: исполнилъ ли онъ заповѣдь Христа, или не исполнилъ, роздалъ ли имѣніе или не роздалъ? Тутъ не можетъ быть двухъ 'отвѣтовъ', не можетъ быть середины, тутъ одно — или да или нѣтъ“¹⁾).

Мы не беремъ на себя смѣлости г. Мережковского предугадывать рѣшеніе „божьяго суда“ надъ Л. Н. Толстымъ, но съ „человѣческой“ точки зрѣнія мы не можемъ не видѣть въ ихъ противорѣчіяхъ, въ которыя невольно впадаетъ Л. Н. Толстой, драмы, тяжелой и печальной драмы, но отнюдь не ироніи или насмѣшки. Разрѣшеніе этихъ противорѣчій въ той формѣ, въ которой предлагаетъ г. Мережковскій, конечно просто, но для этого разрѣшенія нужно быть Власомъ, въ лучшемъ случаѣ Францискомъ Ассизскимъ, хотя и онъ теперь врядъ ли бы такъ разрѣшилъ эти противорѣчія, да и врядъ ли такъ просто отнесся къ нимъ, какъ говоритъ легенда. Противорѣчія современнаго человѣка съ его анализирующимъ критическимъ умомъ, съ его наболѣвшей совѣстью, разрѣшаются труднѣе, мучительнѣе. Можно сказать, они вовсе неразрѣшимы, потому что жизнь слишкомъ сложна, а изощренный анализъ ума не усыпить хожденіемъ Власа. Здѣсь намъ невольно вспоминаются слова Л. Н. Толстого, которыя г. Мережковскій выбралъ эпиграфомъ для своей книги, но которыхъ, повидимому, не понялъ, не почувствовалъ, какъ слѣдуетъ. Слова же таковы: „всякій человѣкъ нашего времени, если вникнуть въ противорѣчія его сознанія, его жизни, находится въ самомъ отчаянномъ положеніи“. Этого отчаяннаго положенія, конечно, не было бы, если бы выходъ былъ такъ простъ, какъ онъ представляется г. Мережковскому. Но дѣло въ томъ, что современному культурному человѣку нѣтъ уже возможности признать этотъ

¹⁾ Стр. 30.

выходъ дѣйствительно выходомъ. Старые способы распутыванья гордіевыхъ узловъ человѣческой совѣсти уже слишкомъ примитивны, а новыхъ нѣтъ, въ томъ то и „отчаянное положеніе“, о которомъ говоритъ Л. Н. Толстой. Надо совѣсть не понимать Л. Н. Толстого, съ его неустанной работой ума, чтобы считать его способнымъ удовольствоваться традиционными разрѣшеніями жизненныхъ вопросовъ. Толстой часто добровольно стремится подчиняться авторитету традиціи, но въ томъ то его и противорѣчіе съ собой, противорѣчіе вѣчное, что онъ всегда почти сильнѣе этого авторитета, глубже, сознательнѣе его. Глубокій мыслитель конца 19 и начала 20 вѣка напрасно старается уложить свою мысль въ средневѣковыя рамки, она разрываетъ ихъ и неудержимымъ потокомъ мчится все впередъ и впередъ, срывая всѣ преграды условности и предвозвѣщая далекое еще едва доступное взору будущее, то будущее, которое, вопреки всѣмъ оковамъ традиціи, прозрѣваетъ его безконечно проницательный умъ. Этой же проницательности ума обязанъ Толстой и тѣмъ, что г. Мережковскій называетъ „ясновидѣніемъ плоти“, и что мы бы назвали высшимъ проявленіемъ реализма въ искусствѣ. По массѣ мѣткихъ и тщательныхъ наблюденій та часть труда г. Мережковского, которая посвящена выясненію этого „тайновидѣнія плоти“, является лучшей, дѣйствительно замѣчательной частью его книги. Г. Мережковскій рядомъ тщательныхъ тонкихъ наблюденій вводитъ читателя въ самый процессъ художественнаго творчества Толстого, читатель видитъ—какъ живо стояли передъ творцомъ „Войны и мира“ его образы, съ какой подробностью онъ ихъ видѣлъ передъ собой во время процесса творчества, какъ вѣрны себѣ они остаются въ разные моменты.

Быть можетъ, ничто написанное о Л. Н. Толстомъ не выясняетъ болѣе его образъ какъ художника, чѣмъ эти немногія свѣтлыя страницы въ трудѣ г. Мережковского, обнаруживающія въ авторѣ недюжиннаго изслѣдователя. Но г. Мережковскій не можетъ долго оставаться изслѣдователемъ, онъ тутъ же надѣваетъ колпакъ юродиваго, и мѣткія наблюденія чередуются у него съ кликушествомъ, бредомъ и произволомъ необузданной фантазіи.

„Апостолъ Павелъ, говоритъ г. Мережковскій, раздѣляетъ существо человѣческое на три состава, заимствуя это раз-

дѣленіе отъ философовъ александрійской школы: — на чело-
вѣка тѣлеснаго, духовнаго и душевнаго. Послѣдній есть со-
единяющее звено между двумя первыми, — нѣчто среднее,
двойственное, переходное и сумеречное, — уже не плоть, еще
не духъ, — полуживотное, полубожеское, — что, выражаясь
на языкѣ современной науки, относится къ области психо-
физиологии — тѣлесно-духовныхъ явленій.

„Л. Толстой есть величайшій изобразитель этого не тѣ-
леснаго и не духовнаго, а именно тѣлесно-духовнаго, „ду-
шевнаго челоуѣка“, той стороны плоти, которая обращена
къ духу и той стороны духа, которая обращена къ плоти, —
таинственной области, гдѣ совершается борьба между звѣ-
ремъ и Богомъ въ челоуѣкѣ: это вѣдь и есть борьба и тра-
гедія всей его собственной жизни, — онъ вѣдь и самъ по пре-
имуществу челоуѣкъ „душевный“, ни язычникъ, ни хри-
стіанинъ до конца, а вѣчно воскресающій, обращающійся и
не могущій воскреснуть и обратиться въ христіанство, полу-
язычникъ, полухристіанинъ“ ¹⁾).

Если разобратъся въ этихъ „александрійскихъ“ дѣленіяхъ
челоуѣка, то только „душевный“ челоуѣкъ и остается на-
стоящимъ, „духовный“ же и „тѣлесный“ отойдутъ въ область
фикцій. Монистическій взглядъ на природу челоуѣка, при-
знающій одно начало для, такъ называемыхъ, духовныхъ и
тѣлесныхъ явленій, но не посягающій на раскрытіе *сущности*
этого начала, — вотъ единственный возможный взглядъ, сво-
бодный отъ метафизическаго или мистическаго произвола.
Толстой, какъ и всякій другой челоуѣкъ, въ этомъ смыслѣ
является „душевымъ челоуѣкомъ“, такъ какъ тѣлеснаго и
духовнаго не можетъ существовать въ дѣйствительности.
Психика „душевнаго челоуѣка“ таинственна, такъ какъ таин-
ственно само по себѣ сознаніе и жизнь, но при чемъ тутъ
борьба звѣря и Бога мы, право, не можемъ понять. А между
тѣмъ эта борьба звѣря съ Богомъ и „Звѣрь“ въ произведе-
ніяхъ Л. Н. Толстого является своего рода *idée fixe* для
г. Мережковскаго. Этому „Звѣрю“ г. Мережковскій придаетъ
какое то таинственное значеніе, смѣшивая въ одну кучу
охотничьи инстинкты дяди Ерошки изъ „Казаковъ“, „обще-
арійскій“, по мнѣнію г. Мережковскаго, культъ звѣрей и

¹⁾ Стр. 95.

„звѣря“ апокалипсическаго. Въ общемъ получается чепуха, напоминающая пресловутую лекцію о духѣ времени пр. Астафьева, въ которой духъ времени—дьяволъ—сказывался и въ изображеніи чорта на прессъ-папье, и въ названіяхъ папирсъ „Демонъ“ и дамскихъ боа. Какъ показатель сумбура, который является въ головѣ г. Мережковскаго, когда онъ начинаетъ пророчествовать или философствовать, можетъ служить его сужденіе объ „обще-арійскомъ“ характерѣ культа звѣрей. Г. Мережковскому, повидимому, и въ голову не приходитъ, что культъ звѣрей совсѣмъ не исключительно-арійская черта, а черта, свойственная народамъ самого разнообразнаго происхожденія на извѣстной степени культуры. Вообще, г. Мережковскому ничего не стоитъ съ апломбомъ говорить объ обще-арійскихъ чертахъ, не подозревая, повидимому, что можно говорить съ какой нибудь опредѣленностью развѣ только объ арійской семьѣ языковъ, что неизвѣстно совершенно, какіе народы, изъ говорящихъ на этихъ языкахъ, настоящіе арійцы, а какіе ариизированы. Терминъ „арійскій“, „аріецъ“ такъ и пестритъ въ книгѣ г. Мережковскаго, теряя отъ неосторожнаго обращенія всякій смыслъ. Такъ же свободно обращается г. Мережковский и съ „духомъ Семитства“, напоминая смѣлостью своихъ сужденій развязнаго молодого человѣка, г. Б. Ренса изъ „Петербургскихъ Вѣдомостей“, сыгравшаго такую печальную роль въ исторіи этой газеты. Вернемся къ „Звѣрю“. Въ этомъ „Звѣрѣ“ у г. Мережковскаго сливается „звѣрь-животное и звѣрь-человѣкъ“, понимаемый, впрочемъ, имъ иначе, чѣмъ обычно, понимаемый отчасти, какъ „душевный человѣкъ“ той александрійской классификаціи, которой пользуется г. Мережковский выше; все, что не подходитъ подъ категорію „духовнаго человѣка“ той же схемы, у г. Мережковскаго „звѣрь“; но вмѣстѣ съ тѣмъ „этотъ звѣрь“ и звѣрь апокалипсическій.

„Откровеніе св. Іоанна, говоритъ г. Мережковский, предвѣщаетъ въ самомъ концѣ міра, передъ вторымъ пришествіемъ — явленіе звѣря, который „выдетъ изъ бездны“. Первый Звѣрь, мудрейшій изъ всѣхъ звѣрей, обитавшихъ въ раю, „древній драконъ“, *окрыленный* ¹⁾. Змѣй, соблазнившій человѣка плодами съ Древа Познанія: — „вкусите отъ нихъ

¹⁾ Курсивъ г. Мережковскаго.

и откроются глаза ваши и станете, какъ боги“,—дасть этому второму Звѣрю „силу свою, и престолъ свой, и великую власть“. — „И дивилась вся земля, слѣдя за Звѣремъ. И поклонилась Звѣрю, говоря: кто подобенъ звѣрю сему и кто можетъ съ нимъ сразиться? И отверзъ онъ уста для хулы на Бога. И дано было ему вести войну со святыми, и *побѣдить ихъ* ¹⁾; и дана ему была власть надъ всякимъ колѣномъ и народомъ, и языкомъ и племенемъ. И творить онъ великія знаменія, такъ что и *огонь* низводитъ съ неба на землю передъ людьми“ ²⁾.

„Возставшій на небо Прометей — „Прозорливецъ“, братъ подземныхъ титановъ съ змѣевидными тѣлами, глубокомысленно замѣчаетъ г. Мережковскій, тоже „низвелъ огонь съ неба на землю“.

Читатель, конечно, удивленъ такимъ сближеніемъ, но онъ удивился еще больше, что этотъ родственникъ Прометею апокалипсическій звѣрь оказывается сродни и тому звѣрю, о которомъ говоритъ дядя Ерошка, т.-е. обыкновенному дикому кабану!

„И вѣдь есть же какая то неисчерпанная сила у этого Звѣря, ежели дано ему, какъ Антихристу, возстать на Христа и сразиться съ тѣмъ, кто побѣдилъ міръ“. Есть же какая то страшная, не открывшаяся мудрость и *знаніе* у этого Звѣря.

„Звѣрь знаетъ все,—утверждаетъ дядя Ерошка ³⁾. Если и не все, философствуетъ г. Мережковскій, то, по крайней мѣрѣ, онъ знаетъ, *что то* помнитъ Звѣрь, что человекъ уже забылъ и не можетъ вспомнить; есть у него какое то непосредственное знаніе,—невинное, „по ту сторону зла и добра“, какое то *ночное зрѣніе*, ясновидѣніе, которое, на нашемъ грубомъ и надменномъ языкѣ, мы называемъ „чутьемъ звѣря“, инстинктомъ.

„Звѣрь въ человекѣ уснулъ, но, можетъ быть, онъ когда нибудь проснется, можетъ быть, дѣйствительно, предстоить еще послѣдній поединокъ человека съ Звѣремъ, Богочеловѣка съ Богомъ-Звѣремъ?“ ⁴⁾.

¹⁾ Курсивъ г. Мережковского.

²⁾ Тоже.

³⁾ О дикомъ кабанѣ, н. к.

⁴⁾ Стр. 123.

Такимъ образомъ, инстинктъ и мудрость змѣя Эдема. Прометей и кабанъ, все это граничить въ безформенномъ мышленіи нашего писателя-упадочника; разобратъся во всемъ этомъ хаосѣ сколько нибудь основательно намъ не подъ силу, мы съ трудомъ слѣдимъ за скачками и пируэтами юродствующей мысли г. Мережковскаго, но насколько мы можемъ прослѣдить нить этихъ разсужденій, „Звѣрь“ въ смыслѣ „ясновидѣнія“ плоти долженъ проснуться въ человѣкѣ передъ концомъ міра, этотъ „звѣрь“ долженъ вступить въ борьбу съ Богомъ въ человѣкѣ; звѣря въ человѣкѣ представляетъ Л. Толстой, Бога въ человѣкѣ Достоевскій. Какъ Достоевскій былъ на порогѣ, чтобы сказать міру „величайшее слово“, то слово, которое сказать придется „символическій Пушкинъ“, и по изреченіи котораго произойдетъ то, „что христіанская символика называетъ концомъ міра“, точно такъ же Л. Толстой, „испытывая и углубляя человѣческое до животнаго и животное до человѣческаго, въ послѣдней глубинѣ обоихъ находитъ первое общее, единое, соединяющее, символическое“ ¹⁾).

Намъ думается, что обсуждать это построеніе г. Мережковскаго дѣло излишнее. Какъ ни вульгарны кажутся ему совѣты Раскольникова Свидригайлову пойти къ врачу, когда тотъ разсказываетъ ему о видѣніяхъ, мы убѣждены, что истиннымъ критикомъ г. Мережковскаго можетъ быть только врачъ. Если мы такъ долго останавливаемся на болѣзненномъ бредѣ нашего талантливаго, но, къ несчастью, очевидно гибнущаго писателя, то только потому, что его болѣзнь не есть теперь только *его* болѣзнь (уже то, что для работы г. Мережковскаго нашелся органъ, говорить за это); кромѣ того, въ его писаніяхъ отражается одна характерная черта нашего безвременья, на которой мы не можемъ не остановиться: черта эта — мучительное исканіе вѣры. Это исканіе заводитъ г. Мережковскаго въ дебри мистицизма, заводитъ потому, что путь къ вѣрѣ въ истину настолько далекъ и труденъ, что не вполне подъ силу оказывается даже такому титану, какъ Л. Н. Толстой. Исканіе вѣры является настолько всеобщимъ въ настоящій моментъ, что мы находимъ его даже тамъ, гдѣ никакъ не ожидали, у такого яркаго представителя

¹⁾ Стр. 115.

положительной мысли, какъ Н. К. Михайловскій. Очевидно, вѣра нужна, особенно современному измученному усталому человѣчеству.

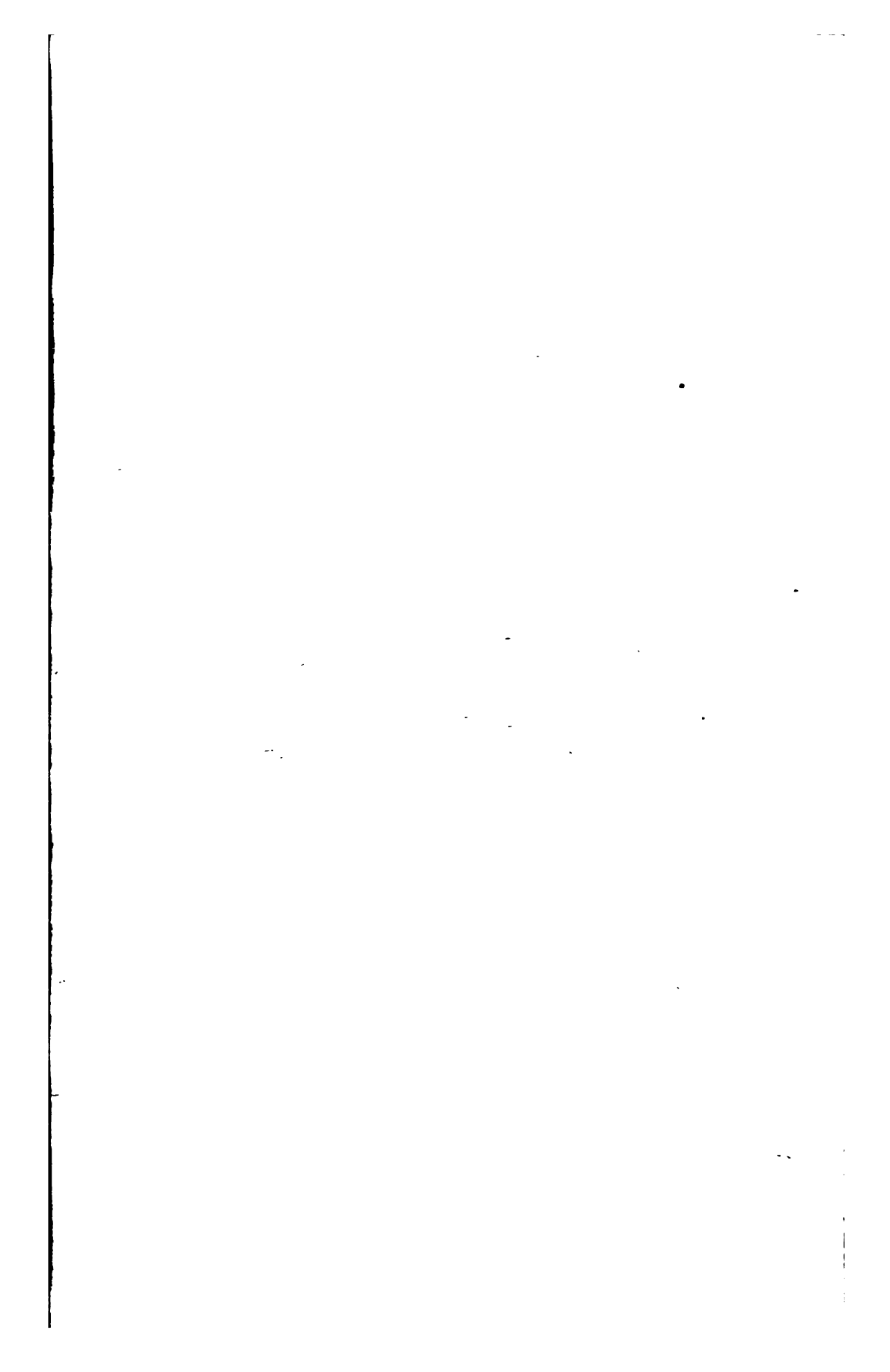
„Неистребима, говоритъ Н. К. Михайловскій, въ человѣчествѣ потребность такого объединенія понятій о сущемъ, т.-е. вѣрованій или постепенно замѣняющихъ ихъ знаній, и долженствующемъ быть, т.-е. морали и политики, которыя черпаютъ въ своемъ единствѣ могучую силу управлять дѣятельностью человѣка“ ¹⁾.

Если эта потребность неистребима, то нечего удивляться что она проявляется въ настоящій моментъ съ такой напряженностью, напряженностью мощи, какъ у Л. Н. Толстого, или истеричнаго бреда, какъ у г. Мережковского. Много причинъ разрушило прежнее міросозерцаніе, не только вѣковое, традиціонное, но и то, которое стремилось занять его мѣсто. И вотъ человѣкъ, не только русскій, но и европейскій, стоитъ на распутьи, стоитъ передъ вопросами, на которые необходимы отвѣты, но отвѣтовъ нѣтъ, нѣтъ того, что „объединяло бы понятія о сущемъ и долженствующемъ быть“, нѣтъ великаго синтеза, а, напротивъ, есть бездна противорѣчій, этическихъ, философскихъ, научныхъ даже. Противорѣчій этихъ тѣмъ больше, что критическая мысль никакъ не можетъ освободиться отъ вольнаго и невольнаго рабства передъ авторитетами, иногда весьма древними, и это рабство передъ авторитетами, эта вѣра въ различныхъ отжившихъ и отживающихъ боговъ связываютъ критическую и творческую работу мысли въ ея исканіяхъ истины. Въмѣсто одной вѣры въ истину являются тысячи вѣръ, взаимно противорѣчащихъ, взаимно истребляющихъ себя и окончательно сбивающихъ съ пути ищущаго человѣка. Обезсиленная мысль обращается то къ одному, то къ другому авторитету, создаетъ эклектическія построенія и, вмѣсто того, чтобы идти впередъ, идетъ иногда очень далеко назадъ. Таковы блужданія мысли г. Мережковского. Ницше, славянофилы, Достоевскій, символисты, Пушкинъ — все это его боги. Такой пантеонъ, конечно, можетъ только убить все истинное, живое, такъ какъ онъ полонъ непримиримаго, разлагающаго противорѣчія. Вѣра въ такихъ разнообразныхъ боговъ, вѣра,

¹⁾ „Русск. Бог.“ 1901 г., № 9, стр. 164.

относѣ не склонная замѣняться знаніемъ, создаетъ тотъ убійственный хаосъ мысли, который мы видѣли въ книгѣ г. Мережковскаго. Чтобы объединить и примирить непримиримое, нужно все время быть въ области фикцій; и г. Мережковский это и дѣлаетъ.

У него все только тѣнь, „только сонъ, только сонъ мимолетный“. Христіанство его не христіанство, Толстой у него не Толстой, Достоевскій не Достоевскій. Все у него преломлено извѣстнымъ образомъ, для искусственнаго, насильственнаго примиренія. У г. Мережковскаго не хватило свободы мысли и дерзости духа пуститься въ трудный, но радостный путь исканія истины одному на свой страхъ, отбросивъ старыя указки, доказавшія свою негодность уже тѣмъ, что ни одна изъ нихъ не привела къ цѣли. Г. Мережковский черезъ Достоевскаго и символистовъ и др. уходитъ очень далеко назадъ отъ той истины, къ которой стремится. Болѣзнь онъ возводитъ въ высшее состояніе, съ необузданной фантазіей рѣшаетъ міровые вопросы путемъ наитія, совершенно игнорируя область знанія; которому, быть можетъ, и не достаеъ пока обобщающихъ элементовъ, столь нужныхъ современному человѣку, чтобы научить его выйти изъ ямы безвременья, но которое является единственнымъ твердымъ фундаментомъ мышленія. За это онъ платится блужданіемъ въ хаосъ безпросвѣтнаго мистицизма. Но путь, которымъ пренебрегъ г. Мережковский, слишкомъ трудный путь. Онъ доступенъ только титанамъ.



Цѣна 1 руб.

a

мк 172301

колл. дачи 2к.

колл. и дача 3-3к.

-50

4-